

Шмелёв И. В.

История села Мотовилово
Дневник
(тетрадь 17)
1932 - 1934 гг.

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

**Иван Васильевич Шмелев
Александр Юрьевич Шмелев
История села Мотовилово.
Тетрадь 17 (1932-1934 гг.)**

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70600678

SelfPub; 2024

Аннотация

Более 50 лет Шмелев Иван Васильевич писал роман об истории родного села. Иван Васильевич начинает свое повествование с 20-х годов двадцатого века и подробнейшим образом описывает достопримечательности родного села, деревенский крестьянский быт, соседей и родственников, события и природу родного края. Роман поражает простотой изложения, безграничной любовью к своей родине и врождённым чувством достоинства русского крестьянина.

Содержание

Бабушка Евлинья. Колхоз. Федотовы.	5
Единоличники	
Пропаганда Фёдора. Учёт в колхозе. Клички лошадей	20
Премия за ударный труд. Нахлебники.	25
«Господин Балакин»	
Тракторист Васька. Васяга сладник!	31
Воровство колхозного добра. Закон от 7/VIII 1932 г.	38
Последний Покров в Мотовилове. Церкви и тюрьмы	42
Святки и Васька Демьянов. Ужишки и кошка	44
Чистка колхоза. Савельевы исключены	48
Переживания Василия Ефимовича. Наказ	60
Трынкова	
Семейные неурядицы. Работа в лесу (египетская балка)	68
Ванька на учёбе в Арзамасе. Работа в колхозе	72
Возмужание и знакомство с Наташкой	76
Возвращение Яшки. Пожары. Братья-поджигатели	80
Ванька с Панькой на курсах трактористов.	85
«Субботник»	

Трудности с хлебом (карточки). Хлебозакуп	87
Трактористы в поле и Ершов. Охотник	92
Осень. Анисья, Панька, Смирнов	103
Девки в Балахне. Дуня и Васька Демьянов	110
Отлёт птиц. Осмотр скота у с/совета	120
Три должности в колхозе Оглоблина Кузьмы	123

Иван Шмелев

История села Мотовилово.

Тетрадь 17 (1932-1934 гг.)

Бабушка Евлинья. Колхоз.

Федотовы. Единоличники

Любит бабушка Евлинья Савельева, разбушевавшихся маленьких ребятишек при уёме, «букой» или «домовым» поугатать: «Будет вам озоровать-то, а то бука вас заберёт, или домовой съест». Ребятишки, слышав о «буке» и «домовом», сразу же присмирено затихали, их объемлевывает страх и каждый, присмирив, старается ближе прильнуть под защиту доброй своей бабушки, ведь кому хочется быть съеденным «букой» или «домовым». Хотя ребятишки—то толком и не знают в сущности, что представляют из себя «бука» и «домовой», они никогда их не видели. Только знают, что «бука» и «домовой» — оба таинственные, уродливые чудовища существуют лишь для того, чтобы съесть маленьких детей за то, что они озоруют и не слушаются старших. Бабушка иногда припугивает и «лешим», который тайно скрывается в лесу и устраивает разные издевательские

козни для людей. Теперь же, бабушкин арсенал остратки ребятишек, пополнился новой опугой: «Смотрите, робяты, не озоруйте, а то в колхоз вас всех заберут и на Соловки отправят!» А то Евлинья начнёт стращать ребятишек «концом света», говоря: «Вот скоро наступит «Свет-конец», загорится небо и земля, и мы с вами все сгорим в огненной геенне!» Это наказание всех страшнее: страшнее «буки», «домового» и «лешего», потому что они наказывают только баловников и озорников, а в огне геенны сгорят все: и смиренники, и взрослые люди, и на земле никого не останется! А бабушка, видя, как испуганные ребятишки, Васька, Володька, Никишка, притихли и боятся даже пошелохнуться, продолжала: «Нынешний-то год високосный, так что в нём и всякой напасти ожидай. Ни один високосный год даром не проходит. Чем-нибудь, а пагубным для народа отметится. И недаром на небе-то комета появилась, а она не к добру: к войне, к народному кровопролитию! Да и в селе-то вон что творится: нас всех хотят загнать в какой-то колхоз, а это уж считай нашествие антихриста, который каждому человеку печать будет ставить на лбу! Этот самый антихрист завладеет всей землёй, всячески издеваться над народом станет, работать непосильно заставит, а есть-то людям будет давать по выдаче. Придёт к нему человек, к примеру, с ведром за хлебом-рожью, а он перевернёт ведро-то кверху дном, да только на дно зерна-то и насыплет!» Страшно ребятишкам слушать бабушкины пророчества...

– Сходи-ка, Дарья, в мазанку, да принеси-ка оттуда остаток муки, да притвори-ка к завтраму хлеба. Только не всю муку-то выскрябывай из ларя-то, оставь мышам на пропитание малость, они ведь тоже живые существа и так же, как и мы, есть хотят, а мазанка без мышей, что дом без людей! – так, в полушутливой форме, Иван Федотов, хлопоча около телеги, посылал свою Дарью в мазанку за мукой, которой в ларю оставалось только на одну выпечку.

– Эту муку испечём, хлеб съедим, а дальше-то как жить-то будем? – с тревогой отозвалась Дарья.

– Узел к ж...е припрём, так не минуча и в колхоз нам с тобой записаться. Благо, семья у нас вся распалась, все отделились, остались только мы с тобой, да Санька, да и он того гляди, скоро из дома выпорхнет.

– Да он уж в дому не жилец. Ведь он в комунист-яцейку записался! – высказалась и Дарья.

– То-то оно и есть, а нам с тобой и в колхозе жить неплохо будет, так что, как говорится, нам с тобой, кроме цепей терять от этого нечего! Была бы шея, хомут найдётся! Высказал своё намерение о вступлении в колхоз Иван перед Дарьей.

– Я в колхозе каким-нибудь шорником заделаюсь; лошадиную сбрую чинить стану, а ты Дарья, какие-нибудь мешки пошивать будешь, так глядишь и прокормимся. Ну-ка открой ворота настежь, я телегу во двор впрячу! – попросил

Иван, чтобы Дарья отворила ворота пошире.

– Так-то оно так, да в этом самом колхозе жить-то будет в диковинку; недаром мне ночесь сон нехороший пригрезился, я инда обезумела и проснулась с испугу, – высказала своё нерасположение к колхозу Дарья.

– Оно, конечно, с первоначалу-то, боязно, но за последнее время, грептится в колхоз вступить, и я вознамерился с заявлением в колхозную кантору сходить, то ли дело, мы с тобой тоже колхозниками станем! – весело улыбаясь и трясая своей козлиной бородкой, продолжал Иван.

– Взял да сходил! – коротко и без всяких возражений согласилась Дарья.

– И семья Федотовых, наряду с Савельевыми, тоже стала колхозниками.

Только Фёдор Крестьянинов, упёршись, закоснев и как бык перед новыми воротами, в колхоз не пошёл, заявив:

– Ноги моей в этом аду не бывать, а силком заставлять станут, только через мой труп!

Пробовал уговаривать его о вступлении в колхоз сын Алёша, отец резко отговаривался:

– Слыхивали мы эти детские сказки и видывали заманчивые приманки. Нет! Пускай стреляют, а в колхоз к басурманам не пойду! – твёрдо и категорично отказал Фёдор.

В кругу колеблющихся в отношении идти или не идти в колхоз, мужиков и баб, Фёдор словесно излагал свою философию:

– И зачем только правители насильно загоняют народ в колхоз, заманивая в него хорошей жизнью. Это получается, как мы в детстве старались принудительно загнать синичку в клетку, а она ни в какую не хотела в неё залетать, да и только. Мы ей и зёрнышек в клетку понасыпали, обещали кормить поить и в зимнюю стужу в избном тепле её содержать обещали, а она, глупая, не хотела жить в таких условиях и баста! Ей, видимо, свобода-то дороже всего на свете. Вот и я тоже не желаю под началом анафемов жить и вся недолга!

После рассказа о вольной птичке он переходил на рассказ на свой лад, басни о мужике и медведе. И тихо, не торопясь, глаголил:

– Позавидовал медведь на мужика-крестьянина, что ему хоть и трудновато летом хлеб себе добывать, но зато он всю зиму сыт и живёт преспокойно. А ему, медведю, всю зиму приходится в холодной берлоге лежать и с голодухи лапу свою сосать. Пошёл медведь к мужику, чтоб договориться о совместной обработке земли, совместном севе и разделе урожая между собой поровну: – Я буду вместо лошади плуг за собой тянуть, силёнки у меня на это хватит, а ты будешь плугом управлять, ты – сеять, а я боронить! – пообязался медведь.

– Ладно! – говорит мужик, – согласен на такое условие. А чего ты, когда время придёт урожай делить, из урожая-то себе возьмёшь. Вершки или корешки? – спросил его мужик.

Медведь говорит мужику: – Я себе возьму корешки, с ни-

ми хлопот меньше, они в земле находятся: вот я и буду ими всю зиму лакомиться, а ты мужик, себе вершки, в случае, забирай! – Ладно, согласен.

На том и порешили. – Для первости, давай посеем пшеницу, – предложил мужик. – Давай, я согласен, – проорчал медведь. Землю вспахали, посеяли заборонили. Пшеница вошла дружно: ровная, густая, как щётка. Выколосилась, отцвела, налилась, поспела. Настало время жать и урожай делить. Мужик сжал свои вершки и на ток снопы свёз, а медведю, по уговору, корешки жниву оставил в поле. Покопался, покопался медведь в пшеничных корешках, пососал земляные корни, и, не найдя в них ничего питательного, забрался в свою берлогу на всю зиму и стал по-прежнему с голоду лапу сосать. Сосёт лапу и думает: «Ну и здорово же надул меня мужик своими корешками. Ну, на следующий год я уж корешки-то ему оставлю, а себе вершки заберу!» К весне медведь снова выбрался из берлоги, и к мужику: – Ну, мужик, ты меня всё же здорово объегорил, своими корешками. Я всю зиму проголодовал. Теперь я поумнее стал и в этом году корешки не возьму, их тебе оставлю, а дай мне, на сей раз, вершки! – Ладно, – говорит мужик. – В этом году мы с тобой посеем для пробы репу, она посочней пшеницы-то и слаще! Да ещё и то сказать, пшеницу после пшеницы, по агрономии, сеять не рекомендуется. Земля истощится! – Давай сделаем по-твоему! – согласился медведь. Посеяли осенью, при разделе урожая мужик согласно уговору, забрал се-

бе корешки, т.е. саму репу, а медведю оставил вершки: по-жухлые листья, которые зимой на морозе замёрзли колом и оказались не по зубам медведю. Рассердился медведь на мужика, и в знак возмездия за обман решил у мужика скотину задрать. Выпустит мужик своих овец и телят в стадо, а медведь из-за кустов выскочит да их и цап-царап. С тех пор у мужика с медведем и дружба врозь. А вы разумеете, кто здесь мужик, а кто медведь.

Упорный, закоснелых колхозников-единоличников в сем осталось всего пять хозяйств: Фёдор Крестьянинов, Ананий Петрович, Владыкин, Василий Самойлович Владыкин, Садов Михаил и Пётр Шутов... им выделили землю для посевов в заполице, около посёлка «Баусиха» – в самом отдалённом углу сельской пахотной земли, которая перешла в владение колхоза.

Государство вело жёсткую политику по отношению к единоличникам, всячески ущемляла права их и облагало непосильными налогами, безжалостно вытряхая последние трохи из мужика частного собственника, держа цель полного вымирая частной собственности! Испытывая тяжесть налога, единоличники, иногда с общего уговору, собирались все вместе и шли в сельский совет с целью просить местные власти о скоске непомерно тяжёлых налогов, как денежных, а также и натуральных: хлебом или картофелем. Перед тем,

как пойти в совет, единоличники притворно одевались в плохую, ветхую одежду, в надежде невзрачным внешним видом своим размилостивить сердца несговорчивых представителей местной власти. Вот и в этот раз Фёдор нарочно одел худой кафтан, обулся в сильно изношенные лапти, на голову нахлобучил потрёпанный картуз направился к Ананию, где его уже поджидали остальные единоличники. Все впятером они пошли в сельсовет. Войдя в здание совета, который располагался в доме дьякона Константина Порфирьевича Скородумова, из которого его выдворили. Мужики-единоличники встали у порога, осматриваясь и изучая обстановку. В сельсовете толмошился народ, толпясь около секретаря совета Вячеслава Аркадьевича Салакина, выправляя кому какие надобные документы. В углу за отдельным столом финансист принимал от налогоплательщиков деньги в уплату налогов. Чтобы привлечь внимание представителей властей и вызвать в них некоторое сострадание Фёдор, как старший от своих коллег, для начала громко и как-то плаксиво высморкался в полу своего дырявого кафтана и тайно оглядываясь вокруг, ища взором сочувствия со стороны окружающих посетителей помещения сельсовета. Но все были заняты своим делом, и никто не обратил внимания на Фёдоровы заискивания. «Слезам не верят и не внемлют стону!» – подумалось Фёдору и, громко прокашлявшись, он обратился к секретарю:

– Господин Балакин! Вот мы все единоличники, пришли

к вашей милости, похлопотать о скоске налогу, уж больно много вы на нас навалились!

– Разговаривать о скоске налога я не уполномочен! – официально и с некоторой высокомерностью сказал Балакин. – На это у нас есть председатель, вон он в своём кабинете и идите к нему!

Из-за дощатой загородки, которой был отгорожен кабинет председателя, едва слышался гуд разговора, видимо председателя и ещё какого-то лица. Просители, открывши дверь кабинета, робко вступили в него.

– Мы к вашей милости, товарищ председатель, – обратился Фёдор к Дыбкову. – насчёт скоски вот с нас со всех единоличников.

– Уж больно много вы на нас навалили, – ввернул своё слово в поддержку Фёдору чуть осмелевший Ананий.

– А я не в силах сбавлять налоги, надо мной есть начальство свыше, вот предо мной сидит зав.райфо товарищ Песикин, к нему и обращайтесь по этому поводу, – деликатно отговорился Дыбков.

В неуверенности и в страхе перед городским начальником, мужики сразу как-то сникли, но Ананий, не утратив жалкий наплыв смелости, стал подталкивать впереди стоящего Фёдора и чуть слышно шепча, Ананий настропаливал Фёдора.

– Фёдор, а ты подойди ближе к городскому-то начальнику и проси, чтобы скостили!

Председатель с зав.райфо переглянулись, у них у обоих видны застывшие на устах усмешки.

– Так как господин хороший из району, будьте-ка столь милостивы, скостите с нас хоть немножко налогу-то, а то уж больно непомерно на нас его наложили. Нам непосильно выплачивать такие суммы денег! – высказался Фёдор.

– А почему в колхоз нейдёте? Вы знаете политику нашей партии, которая взяла курс на сплошную коллективизацию и объявила беспощадную войну с частной собственностью, а вы упёрлись и в колхоз не идёте, так и знайте налога мы с вас скащивать не собираемся, а что наложено, чтоб было уплачено вами в срок и без всяких проволочек, никаких поблажек и попустительств с нашей стороны к вам не будет. Наши советские законы не игнорируйте, и завтра же несите деньги в уплату налога! – вместо снисхождения строго наступил на них зав.райфо Песикин.

– Ну что ж, уплатим, мы не отретчики, по силе возможности по божьей воли выплатим, только наша общая просьба скостить с нас хоть немного больше, – непосилен он, налог-то! – с жалобой в голосе всё же осмелился Фёдор просить о скоске.

– Как я вижу, ты у них видать заводилой числишься и за всех хлопочешь, дискредитируешь советскую власть. Как твоя фамилия? – презрительно посмотрев на Фёдора, строго и с опугой спросил Песикин, держа в руках карандаш и бумагу с видом готовности записать фамилию Фёдора для

особого учёта.

– Нет, ты уж не пиши меня. Я уж старик, и к труду не способный, да и вообще я человек больной! – зажаловался не на шутку оробевший Фёдор, боясь попасть в запись представителя из района.

И он, спиной растолкав своих коллег, задом отворив дверь, первым выскользнул из председательского кабинета. За ним поспешили и остальные не в меру перепуганные мужики-просители, они поспешно выхлынули из сельсовета, громко хлопнув дверью.

– Баил я вам, что не пошто ходить к этим анафемам-басурманам, они не только о скоске думают, а мечтают, как бы ещё на нас больше налога навалить! – с недовольством ворчал Фёдор на своих попутчиков.

Заступился было за отца Алеша, а его на ячейке упрекая, осмеяли: «Ты, Алексей, проливаешь «крокодиловы слёзы!»»

Чтобы как-то приbedниться и сделать вид, что в хозяйстве ничего нет и отбирать нечего, Фёдор продал с крыши двора железо и намеревался закабалить и дом, который недавно построил в хлопотах и больших расходах. А Пётр Шутов надумал заняться мелкой торговлишкой. Ездил на Вад на базар, привозил оттуда хозяйственные плетюхи и тайком продавал их нуждающимся в этой хозяйственной посудине, за что в последствии осудили Петра, как спекулянта, отобрав у него жалкие пожитки вроде запона, с вышитыми буквами

на нагрудничке А.Ш. (Антонина Шутова означающие), который фигурировал на торгах, в месте с отобранными у кулаков и попа вещами, которые распродавали населению на организованных торгах.

Снится во сне Фёдору, как он шесть лет тому назад хлопотал с постройкой дома. Ему особенно запечатлелся момент подъёма балки-матицы на собранную уже поставленную на мох стопу сруба. Приготовив изготовленную на земле балку-матицу, как заглавную часть строящегося дома, к подъёму, уже на сложенный на мох сруб, положив её на покаты и, зацепив за неё верёвки, Михаил Федотов (обладатель непомерной силы) проговорил мужикам участникам:

– Ну как, мужики, осилим ли?

– Она вон какая дура. В комле-то обеими руками едва охватишь! – заметил Василий Ефимович.

– Силы не хватит, дури добавим! – весело улыбаясь, отозвался отец Михаила Иван.

– А, по-моему, силы не хватит – «дубинушка» поможет! – проговорил Жарков.

– Ну, дивиться тут некому! Полезем наверх, а ну кто, мужики, посильнее, айда наверх! – произнёс Михаил Максимович Хорев.

Артель здоровенных кряжистых мужиков дружно повскакали с мест и моментально очутились на верху собранного сруба, разместившись на помостах, цепко ухватились за ве-

рѐвки мозолисто-мускульными руками.

– Иван Федотыч, ты здесь самый старший, тебе и дубинушку запевать! – заявил Максимыч.

Иван, не обладающий резвым голосом и редко певший песни, бойко тряхнув жиденькой бородкой, сверлящим воздухом, не обнятым тенорком импровизированно резво затянул:

– Мы хозяина уважим, силу-матушку покажем! Из кармана силу вынем, балку-матицу подыдем!

Мужики, смиренно вслушиваясь в слова песни, выжидая, пока молчали. Для ловкости уцепив руками перебирали верѐвку. И, как только Иван допел «балку-матицу подыдем!», все дружно, общим унисоном басовито запели:

– Эх, дубинушка ухнем, эх, зелёная сама пойдѐт, сама пойдѐт, подѐрнем, подѐрнем, да ухнем, – и попѐрли.

– Пошла, пошла! – задорно кричал с земли хозяин стройки Фѐдор, видя, как балка, сорвавшись с места, плавно и медленно поплыла по наклону покатов вверх.

Из-за чрезмерной тяжести балки, дотянув её до половины, мужики приостановились для отдыха и набора силы. Раскрасневшиеся от натуги их лица подсолнечниками виднелись поверх сложенного сруба. Малость отдышавшись и передохнув, Иван снова запел:

– Если силушка не сможет, нам дубинушка поможет! – и в весеннем воздухе снова в песни ахнули грубоватые мужичьи слова «дубинушки».

Балка, скользнув по покатам, снова медленно поползла

вверх. Дотянув балку до верха стопы и ввалив её на место (где ей лежать до гнили, или (не дай бог) до пожара), мужики, весело переговариваясь и чувствуя близость размойки, с видимым степенством и достоинством стали слезать с собранной стопы сруба, увенчанной уже теперь балкой-матицей.

Как особенный любитель выпивок, Михаил Максимович с улыбкой на лице крикнул Фёдору:

– Ну, хозяин, готовь четверть вина, матица на месте. Считай, дом готов, матица всей избе крыша!

– Оно так-то так, а только всякий дом не матицей вершится, а самой крышей, без крыши дом – не дом: в непогодь дождь зальёт! – с чувством какого-то недовольства и скупости заметил Фёдор.

– Эх, ща до крыши-то всего немало спонадобится: и силы, и материалу, – сокрушённо добавил он, и пошёл в мазанку, откуда одной рукой поддерживая под доньшко, а другой, обхватив горловину, он выволок четвертиную бутыль самогона.

Завидев четвертину, отдохавшие и кутившие мужики весело хохотали.

– Вон она, милая, появилась, рассаживайтесь, мужики! – скомандовал Максимыч.

Прямо под открытым небом на изготовленные из протесу сиденья мужики дружно расселись. Началось угощение: выпивка и закуска. Подвыпившие мужики зашумели, а потом

запели...

Пропаганда Фёдора. Учёт в колхозе. Клички лошадей

Не смотря на Фёдорову пропаганду против колхоза, а он среди временно вышедших из колхоза, говаривал: «Птичке выпорхнувшей из клетки, вряд ли захочется снова в неё попасть, какой бы ни соблазнительной была приманка!» И всё же, в колхоз вернулись не только те, которые временно вышли из него, а наоборот, где по осознанию, где по нужде, в колхоз вступили все хозяйства села, кроме, как было сказано, пяти, которые остались единоличными. Планы партии осуществились, коллективизацию сельского хозяйства по всей стране, почти полностью завершена. Партия, взяв курс на построение социализма, объявила боевой лозунг «Пятилетку в 4-е года!». Было выпущено следом ещё два государственных заёма под названием «Третий решающий» и «Четвёртый завершающий». Трудовой народ за досрочное выполнение пяти лет, взялся со всем рвением и энтузиазмом. На производстве, на стройках и в колхозах появилось боевое ударничество. Особо отличившихся в труде заносили на красную доску, отстающих с позором, заносили на чёрную. На промышленных предприятиях и в учреждениях на видном месте, вывешивались красочно оформленные показатели, кто какими темпами строит социализм, кто

со скоростью самолёта, кто со скоростью паровоза, а кто едет на черепахе. У самых же отстающих в конторах на стене красовалось рогожное знамя, которое показывало позорное отставание данного коллектива. Для трудового подъёма среди колхозников был лозунг: «Сделаем колхозы большевистскими, а колхозников – зажиточными!» А также был выдвинут общий для всего народа лозунг: «Социализм – это, прежде всего, учёт». Ликвидируя обезличку, и полный хаос, в колхозе дружно взялись за наведение порядка и всё, вплоть до мелкого инвентаря, взяли на учёт. Более того, в животноводстве, по указаниям свыше, в колхозе навели строжайший учёт. Коровам, разгруппированным по местам, присвоили каждой свою кличку, тут были: «Жданка», «Вечёрка», «Умница», «Ведерница», «Сиротка», «Майка», «Бездонная», «Хрипуша», «Луна», «Зорька» и прочие, которые строжайше учитывались по масти, характеру и надою молока. Среди коров была рекордистка, недаром и кличка ей – «Бездонная». И по заслугам эту корову прозвали так, сколько её ни дои, и всё в её вымени молоко есть, но чтобы её не изнурить доением и не испортить, доярка Анна больше надоя полуторных дойниц за один раз «Бездонную» не изнуряла. «Ведерница» – доит по ведру и почти круглый год с молоком ходит. «Жданка» – долго ждала, когда её мать отелится, и ей, телёночку, присвоили это имя. «Вечёрка» – родилась вечером. «Зорька» – на заре. «Луна» – в лунную ночь. «Сиротка» – когда она появилась на свет, от натуги мать её издохла. До-

ярка Марья выкормила и выпоила её, вырастила до взрослой коровы. «Хрипуша» – эта корова по-коровьи мычать не умеет, а только громко хрипит. В коневодстве учёт лошадей завели ещё более подробный, чем по коровам.

Лозунг: «Лошадь в колхозе – основная сила!» – заставлял беречь колхозного коня. По штату, в колхозе полагалось иметь главного, двух старших (две бригады) и рядовых конюхов. Недаром в народе сложилась шуточная поговорка: «Старший помощник младшему конюху!» В колхозной канцелярии специальный счетовод по коневодству Ромка с помощью целой плеяды конюхов, навёл идеальный порядок в учёте конского поголовья. Он ни только знал лошадей по кличкам, среди которых были: «Громолей», «Вятель», «Неугомонный», «Голиаф», «Вагон», «Трактор», «Силач», «Буран», «Осёл», «Орёл», «Верблюд», «Трезвон», «Ветер», «Лягач», «Пягинай», «Лихой», «Упрямый», «Норовистый», «Бегун», «Резвый», «Оглобля», «Шорка», «Малышка», «Лестница» и знаменитая «Савельевская Вертеха», о горячем характере которой уже говорилось несколько раз. А вот почему другая кобыла называется «Лестницей», спрашивали счетовода в райколхоз-управлении, когда его вызывали туда для уточнения классификации конского поголовья по мастям.

– А потому, – отвечал счетовод, – когда была ожереблена, то была ростом очень маленькой, мы её называли «Малышкой», а когда стала вырастать к хомутовой поре, выдула с ко-

локольную, так что верхом на неё без лестницы не залезешь! Мы её перестали называть «Малышкой», а прозвали «Лестницей». Хотя и «Голиаф» – лошадь огромного роста, а всё же пониже «Лестницы». А вот мерин «Вагон» – лошадь неимоверной длины, как «пульман». «Верблюд» – имеет непомерно высокую холку, как горб у верблюда, и верховая езда на нём одно мученье, всю ж... изотрёшь и три дня раскорякой ходишь! Мерин «Упрямый» – в работе упрямится: встанет в борозде или в воде и, блаженствуя, ногами бурлит воду, одним словом, с норовом. «Пягинай» – при надевании на него хомут, назад пятится, иногда на немалую дистанцию. «Лягач» – имеет обыкновение лягаться задними ногами вскидывает, между передними у него хоть ребёнок проходи, не тронет, а к задним ничем лучше не прикасайся – лягнёт сразу обеими наотмашь! «Вятель» – вялый, как тюлень, едва его скопытишь, когда оброта, вздумаешь повести из стойла, ни один оборванный повод на его вялого счёту. «Громобой» – огромного роста, карий мерин, когда игогочет, как гром гремит. «Трактор» – неимоверной силы, гнедой масти мерин, ему любой воз нипочём! «Галоп» – выложенный жеребец, бегать рысью не может, с места берёт в галоп. «Бурани» – оже-реблён в такую непогодь, буранило – свету божьего не видать! «Осёл» – прозван за большие уши, как у осла. «Норовистый» – меренок с норовом, вздумает – любой воз повезёт, не вздумает – с малым возом остановится, и хоть весь кнут об него изхмыщи, с места не тронется! «Трезвон» – на свет

появился, когда на колокольне трезвонили. «Орёл» – жеребец-производитель. «Оглобля» – кобыла из оглобель не вылезает, и устали не знает на ней, и днём и ночью ездят – безотказная лошадь. И опять же насчёт «Вертехи», при запряжке не постоит спокойно, так и просится в путь и только рысью бежит сломя голову, седоки только держись, а то из телеги вылетишь или шапку обронишь. Расписывая достоинства и пороки колхозных лошадей перед работниками райколхоз-управления, счетовод надолго задерживался в разговоре с ними, его хвалили за постановку такого идеального учёта, а на совещаниях ставили в пример другим счетоводам, которые отвечали за аналогичный учёт в других колхозах. А однажды его даже премировали, выдали ему уздечку и именную плётку, которая очень понравилась председателю колхоза, который впоследствии вызудил эту плётку у счетовода. Наведение подробнейшего учёта в колхозе на всякий мелкий инвентарь и в животноводстве, некоторых удовлетворял и радовал, а узнал об этом Фёдор Крестьянинов, высказался: «Нет смысла отыскивать пустых голов, их у нас хоть отбавляй и так!»»

Премия за ударный труд. Нахлебники. «Господин Балакин»

Вошедшие в колхоз почти все хозяйства села, а с ними и подавляющее большинство жителей, в колхозе за работу взялись рьяно и со всем рвением. Вначале за вложенный труд людям трудодни начислялись подённо: день отработал – начислялся трудодень. Но такая система оплаты колхозникам не удовлетворяла руководителей. Работая в поле сообща, т.е. скопом, за спины истинных тружеников прятались лодыри, а получали поровну. И поэтому в оплату труда решили ввести сдельщину, которая оказалась не в нос лодырям.

– Сдельщина эта, что старинная барщина! – протестовали они.

Но, не смотря на недовольство лёгких в работе людей, сдельщина устойчиво укреплялась в деле – за хорошую ударную работу, колхозники всячески поощрялись правлением колхоза, от выдачи премии в виде чугунов или конных вёдер, вплоть до помещения фотографии в газете. Работая в поле на жнитве ржи, бабы работали по-ударному: в поле выходили с восходом солнца, обедали только час, отдыхая только в самую мучительную жару. Время обеда и окончание работы определяли, измеряя на земле свою тень лаптями: четыре лаптя – обед, семь лаптей – вечер, кончай работу!

– Бабы! Вам за прошлую-то неделю жнитва, чего в премию-то дали? – спросила Дунька Захарова баб, измеряя свою тень лаптями, страстно желая, чтоб в удлинённой к вечеру тени было не меньше семи лаптей, чтоб заканчивая работу, идти домой.

– Мне чугуна за рупь двадцать, а то картошку не в чем было варить, старый-то прохудился, свищ образовался, палец пролезет, – отозвалась колхозница Марья.

– А меня ведром конным премировали, а то не в чем было вынести корове попить, – высказалась её подруга Анна.

– А тебе Дуньк, чего?

– А меня сфотографировали и мою образину в районной газете поместили! И на доске почёта мою образину выставили! – с недовольством ответила Дунька.

– Эт тебя значит, через газетку продёрнули? – осведомилась Марья.

– Да, мне всех хуже досталось! Я на чугуна завидую, у нас тоже прохудился, – отозвалась Дунька.

– А что, разве плохо твоё лицо в газетке-то красоваться будет? Всяк им полюбуется! – с явной подковыркой заметила Анна.

– Да-а-а! С три дня, может быть, и полюбуется моей физиономией, а потом отнесут газетку-то в Нужник и кто-нибудь моим-то лицом заднее место потрёт!

– Дура ты, Дунька. А вот Кольке Кочеврягину какое доверие дано, следить за людьми и сообщать в надыбы! Ему

за это премию ботинки дали, да наказали: «Носи, только не стаптывай!» – заметила Анна.

– Эт что больно много ему ввалили?!

– А видно для хорошего человека г–а не жалко, – объяснила Дунька.

– Колька-то, Дуньк, про тебя песню сложил:

«На доске почёта хвалят Дуньку,

Как отличницу.

А за что её так хвалят?

За её чернильницу!»

Наряду с полной ломкой бытового уклада жизни ломались и отношения между людьми. Принцип в коллективном труде: «Не можешь – научим, не хочешь – силой заставим!» стал причиной зависти и недовольства, связанное с воспоминанием обид и мести. В поле, жалуясь председателю Федосееву, Дунька Захарова с обидой на Кузьму Оглоблина, говорила ему:

– Товарищ Федосеев, я в обиде на Кузьму! Он вместо того, чтобы по-человечески рассказать и научить, как косою лавировать, разгорячившись, на три буковки меня послал!

– А ты, и вовсе в пяти буквах хотела меня упрятать. Я и то молчу! – наивно улыбаясь, отпарировал Кузьма.

Наряду с завистью и недовольством некоторыми припешниками правления колхозом, появился бюрократизм,

и стало процветать хищничество и воровство колхозного добра, в частности хлеба. В канцелярии колхозного правления развелось столько счётных работников, что войдя в контору, видишь только одни столы и за каждым сидит счетовод, т.е. хоть небольшой, а всё же чиновник. И каждый, занимая место своё, старался выказывать из себя интеллигента, а ни какого-то там рядового колхозника. И разговор-то свой они старались вести на культурном языке. Желая блеснуть своей начитанностью и познанием литературного лексикона, счетовод Ромка спросил у старшего конюха, который обратился к нему по поводу лошадиного вопроса зарегистрировать новорождённого жеребёнка.

– Ты всецело ко мне? – невпопад козыряя фразой, спросил Ромка конюха.

– Да, да, запиши-ка: «Оглобля» ожеребилась, жеребёночка-то мы по общему согласию «Прыгунком» назвали.

Довелось Василию Ефимовичу побывать в колхозной конторе, куда его вызвали по поводу посылки его на курсы садоводов в Арзамас. Завидя множество столов в помещении правления он, ужаснувшись, проговорил:

– Эх, сколько вас тут понатыкано! Куды ни взглянь, везде столы, а за каждым столом – чиновник сидит, а обратиться не к кому, все делом заняты! Раньше был один барин, а теперь трутней поразвели. Нахлебники на шее честного народа! Одним словом! – вынужденно вырвалось у него прелест-

ное определение сидящим за столами.

Это-то неприязненное отношение к колхозным чиновникам, впоследствии горько отразилось на нём. Современных чинуш не любил не только Василий Ефимович, но и комсомолец Гриша Лобанов, случайно от кого-то услышал он о том, как в сельский совет пришли сельские мужики со своим ходатайством и, обратившись к Балакину, как к секретарю, назвав его «Господином», Гриша всячески критиковал и высмеивал Балакина и заочно, и в глаза:

– Такой земский начальник нашёлся, современный дворянин! С худшим качеством. Сам ни аза в глаза не понимает, а из себя барина корчит! – с издёвкой обрушился Гришаня. – Сначала-то избачом в селе заделался, а теперь до совета допятился; в орган власти затесался, себя губернатором возомнил! Оскотинился. За счёт чужого труда барствовать надумал! «Горда свинья тем, что чесалась о барское крыльцо!» – козыряя некрасовскими словами, Гриша заочно клеймил Балакина. – Сидит чиновник плохонький, а сколько в нём г... на. «Не ведает царь, что делает псарь!» – издевательски потешался Гриша над Вячеславом Аркадьевичем.

Мало того, он вдобавок написал анонимное письмо, которое подбросил в сени квартиры Балакина. В письме говорилось: «Господин Балакин! Тупоумный гений, или уезжай из нашего села, или мы тебе голову сломим!» – подпись «С.К.Я». Обнаружив в сенях эпиграммное письмо, Балакин долго ломал голову над расшифрованием этих трёх

букв, которые показались ему инициалами кого-то из жителей села, – инициатора готовившегося покушения на Вячеслава Аркадьевича, одержимый манией величия. Растревоженный Балакин тут же, средактировал и написал от себя письмо с доносом о яко бы готовящемся заговоре в Арзамасскую милицию, на конверте письма написал: «В-срочно!» Милиционеру Никитину было поручено разобраться по этому анонимному делу, но они совместно с Балакиным, перелопачив все лицевые счета жителей села, так и не нашли таких инициал, которые сходны были бы с загадочными буквами «СКЯ», указанные в письме вместо подписи. А Гриша Лобанов, узнав о напрасном беспокойстве и хлопотне, злорадствовал и скрытно насмехаясь, продолжал подтрунивать над Балакиным. Под анонимным своим письмом он тогда вместо росписи поставил кратко «СКЯ». Что означало «сельская комсомольская ячейка»!

Тракторист Васька. Васяга сладник!

Во время уборки урожая этот день стоял жаркий и томный. По всему полю надсадно и наступательно стрекотали жнейки и трактора. Тракторист Васька Демьянов, на своём «Фордзоне», переезжая из поля к селу, где он прицепной к трактору косилкой докосил подсолнечник, предназначенный на силос, измучавшись на жаре, с блаженным довольством пользуясь тенью, вяло передвигающегося по небу небольшого облачка, не торопясь, ехал к колхозному скотному двору. Ваське со своим «Фордзоном» после обеда предстояло работать на силосорезке – измельчать скошенный подсолнечник, направляя через изогнутую знаком вопроса трубу, измельчённую подсолнечную массу в силосную траншею. Приехав на новый объект работы и заглушив трактор, Васька перво-наперво полез под трактор, там он заметил, какую-то неисправность в заднем мосту, которую он и полез исправлять. Васька домой обедать не пошёл, ему обещала обед принести на место работы его мать Устинья. После обеда работать на силосорезку в качестве подавальщика пришёл Николай Ершов. Видя, что тракторист с ключом хлопчет под трактором, Николай, привлечённо громко кашлянув, поприветствовал Ваську:

– Здорово, тракторист! Иль у трактора-то брюхо заболело?!

– Здорово, дядя Николай. Да вот, гайки подвинчивал, ни грол из заднего моста подтекал, пришлось эту малую неисправность устранить! – вылезая из-под трактора с перепачканными в мазуте руками, отозвался Васька и, уважая старшего, чтобы пощадить, не помарать руку Николаю, он, для здорования руку подал получистым запястьем.

– Вот, Василий, заметь такую истину, где конь стоял, там хлеб растёт, а где трактор постоит, там ничего не вырастет! – смотря на масляную лужицу, образовавшуюся под трактором, высказался Николай. – Да и пашут трактора-то больно глубоко, золу выворачивают.

– Это так-то так, всё верно, конь за собой навозный след оставляет, удобрение для земли, а трактор после себя масляный след оставляет, который губительно сказывается на всей растительности, но это всё временно, придёт время, мы землю пахать будем не плугом, потому что плуг разрушает структуру почвы, а электрофузером! – мечтательно и перспективно, как некий учёный специалист высказался Васька перед Николаем.

– А правда бают, в одном колхозе, почва до того плодородна, что весной в землю воткнули оглоблю, к осени вырос базанба, – в весёлом смехе, ощеривши своей щербатый рот, сказал Николай.

– Может, где и есть такая чудодейственная почва, но я что-

то этому анекдоту не верю! – с видимым достоинством отозвался на шутливый вопрос Николая.

Чтобы проверить работу трактора, Васька стал заводить мотор, но он, как назло, не заводился.

– Пропала искра! – вслух высказал причину незаводки.

Вывернув свечу, Васька стал проверять на подачу искры, искры не появлялось.

– Видимо, в заднее колесо искра-то ушла, надо новую свечку поставить! – с профессиональной шуткой проговорил Васька ввинчивая в крышку блока цилиндров новую свечу, которая была у Васьки в запасе.

Васька крепко вцепившись в заводную ручку с усилием стал крутить ею, в старании краснея, как рак. Трактор и с новой свечой упорно не заводился. От досады в приливе гнева и ярости, Васька выдернул заводную ручку и со злобой ударил его по переднему тракторному колесу, от чего в месте удара на миг блеснула яркая искорка.

– Ага, вон она, где была! – обрадованно улыбнувшись, шутливо заметил Васька и снова принялся, заводя мотор, крутить ручкой.

От упористого нажима на ручку, в такт качания всего Васькиного тела, волосы на его всколоченной голове, лохматисто взбрыкивали, было слышно металлически-звонкое пощёлкивание ускорителя магнита. Васька прижимисто поднажал на ручку, и мотор завёлся, обдав заинтересовавшегося Николая сизыми выхлопными газами. Николай, откашлива-

ьясь, отошёл от трактора и уселся на силосорезку. Обрадованно-довольный Васька, не глуша мотора, за неимением ведра, поспешно стянул с себя кожаный сапог, вприпрыжку поскакал к болоту, зачерпнуть сапогом воды, он долил её в радиатор, после чего он подошёл к Николаю.

– Вот Николай Сергеевич, у трактора может появиться столько неисправностей: то искра пропадёт, то компрессия отсутствует, а то карбюратор забарахлит! – и трактор хрен заведёшь! – показывая своё незаурядное знание в тракторном деле, словесно козырял Васька перед Николаем. – Вот она свеча, вроде маленькая штучка, а от неё вся суть в моторе. Она подаёт электрическую искру в камеру сгорания, а видишь, она оказалась неисправной, вот видишь, на ней щель образовалась, – как будто что понимающему в этом деле Николаю объяснял Васька.

Он бракованную отслужившую свой век, свечу, за её ненадобностью, полуиграючи бросил в трактор, целясь в заднее колесо. Но свеча угодила не в колесо, а в стеклянный отстойник, отчего он разбился вдребезги. Изумлённый и побледневший Васька трёхэтажно выругался и во зле, вцепившись руками себе в волосы, драл их до боли. К счастью, у Васьки в инструментальном ящике при тракторе, имелся запасной отстойник, он его, быстренько привинтив, установил вместо разбитого. Наблюдавший за всеми этими Васькиными проделками Николай в душе поругивал Ваську и осуждал его за озорную выходку, связанную с разбитием отстойника. Нико-

лай запомнил также тот злополучный случай, когда из озорства и ехидства Митька подсунул под подсолнечники вилы, они попали в силосорезку, ножи хряпнули, силосорезка вышла из строя на два дня, и однажды во время силосования («Фордзон» у Васьки часто работал с перебоями, а иногда и глохнул совсем), чтобы опорочить тракториста Ваську, Николай собрав около себя группку мужиков и баб, язвительно высказывался в адрес Васьки:

– А знаете, что у него трактор-то барахлит? Я сам, своими собственными глазами видел, как он ведро компрессии домой сволок, а разве без неё трактор будет работать бесперебойно? Конечно, нет! – брызжа белой слюной через щербинку, с явным удовольствием ухмылисто улыбался Николай.

Во время уборки урожая, по всем отраслям его, и на жнитве, и на молотье, и на силосовании подсолнечника, председатель колхоза Федосеев, с утра до окончания работ всё время в поле и на токах. Он настойчиво напоминал работающим в поле колхозникам:

– С целью сохранения урожая, надо всем проявлять максимум внимания, чтобы получалось минимум потерь.

Но, как говорится, трактористы – народ изобретательный. Бригада из трёх трактористов, которым поручена после свозки ржаных снопов, вспахать стернистое поле под зябрь, во время перекура они поймали мышшь и, облив её керосином, подожгли и отпустили. Вместо того, чтобы шмыгнуть в но-

ру, горящая мышь побежала по полю и упряталась под стог обмолоченной ржаной соломы. Стог соломы сгорел, колхоз получил убыток, правление колхоза трактористов, денежно оштрафовав, грозила им дело передать в суд, но, пострашав, помиловали.

– Ну и Васяга у меня сладник! – в шутку и всерьёз критиковала Устинья Демьянова своего сына Ваську-тракториста, перед собравшимися на озере на мостках бабами. – «То не хочу жрать, то не буду». Вчерась выел у пирога всю начинку, а краешки мне оставил, вот идол какой самолюбивец. Я ему говорю: ешь яйца-то и не гляди, что они малость не свежие, на них не больше недели наседка сидела. Я с них согнала её, спугнула, её с гнезда-то. Я бы её не согнала, да огляделась, хватъ, оказалось наседки-то две, а куда мне два-то выводка цыплят-то! Вот и пришлось эту согнать с гнезда, а яйца-то убрать для проку. Вот яички-то и оказались не совсем первой свежести. Я и баю своему Ваське: если цыплёночек из яйца-то появится, то уж такое-то не ешь, а выброси! Да он у меня Васька-то, не больно до яиц-то охотник. Вот любит блины да и только. Вынь да выложь ему почти каждый день блины!

– Да я бы уж ему и потрафила, да подмазки для блинов-то нету. Нет, вру, восейка, кумекаю, где бы раздобыть подмазки, а у самой в сенях целое ведро стоит: Васяга откуда-то приволок. Я на скорую руку сгоношила тесто, напекла бли-

нов, и мой Васька наелся их чуть ли не до отвала. Только такого брезгуна зря-то не накормишь! Не понравилось ему, что я блины-то прямо со сковороды на разостланные портянки клала: «Эх ты, – говорит, – мамка, у меня и чупаха! У тебя, – говорит, – за год пуд грязи съешь!»

Воровство колхозного добра. Закон от 7/VIII 1932 г.

В колхозе колхозники не только по-ударному трудились, но некоторые старались что-нибудь колхозного прихватить домой. На молотье ржи, на току и в складе, работающие там бабы, всякими мерами ухитрялись где-то около себя припрятать с киллограмчик ржи и пронести её домой. Обыскивать баб кладовщику-мужику как-то неприлично, так он, чтобы обличить воровок, пришёл к хитрости. Вечером, перед уходом домой, он полушутейно, но всерьёз предложил:

– А ну-ка, бабы, давайте узнаем, кто из нас сильно поправился за эту неделю, помните, мы как-то все взвешивались, так что давайте-ка пройдем через весы! И слишком пополневших за счёт упрятки в карманах колхозной ржи баб, кладовщик стыдил и совестил, отчего виновницы от стыда краснели, как раки, но до правления это дело не доводил.

Как бы ни боролись в единичных случаях против любителей попользоваться колхозным добром и урожаем, этот порок объял всю страну, во всех поголовно колхозах воровство протекало. Не трудодни интересовали колхозника, а что принесёшь домой в кармане. Об этом порочном деле дошло до центральной власти, которая была вынуждена издать так на-

зываемый закон от 7-го августа 1932 года, который беспощадно карал посягателей на колхозный урожай. За любое количество колхозного добра, обнаруженного у человека при обыске, суд без жеста сожаленья давал пять годов сидки в тюрьме. В связи с этим суровым законом появились мстители и провокаторы. А, как говорится, всего страшнее в мире: деятельное невежество и предательство! Провокаторство и предательство со стороны сатрапов процветало, а вот дружественной коллективной защиты почти никакой не было. У каждого необлечённого в голове являлась гаденькая поганенькая мыслишка: «ведь не меня судят!» Не сознавая того, что он сам стоит на пороге этого же! Веяние новой жизни диктовало так: «Приспособляйся и живи, не приспособился, погибай! Кроме близких родных, никто о тебе не ахнет!» Слепо выполняя свои сатрапские обязанности, такие люди, как Мишка Ковшов и Панька Свинов, пресмыкательски лебезили перед начальством, подбирая жалкие крохи, упавшие с чужого стола, мести ради, зачастую предавали односельчан – невинных людей. Есть хищники, есть и жертвы! Так получилось со стариком Василием Суряковым, который по своей оплошке, принёс домой ржи, набившейся ему в лапти во время работы на току. По Панькину доносу в дом Василия тут же была послана милиция, которая и обнаружила кражу. На суде Василий старался оправдываться. Он, демонстративно выставив вперёд свои, мозолисто натруженные всю жизнь работающие на дольной пиле, руки, взывал к

немилосердным судьям: «Такие руки не воруют, такие руки чужого не берут!» Но судьи упрямы и неумолимы, они фигурировали фактом и безжалостно стращали старика долгосрочной тюрьмой. Василий в слёзы. А судьи, не взирая на слезу, не внемля стону, хладнокровно гнули своё. Москва слезам не верит, и без сожаления сулили Василию тяжкую кару.

– Ну, бог с вами, издевайтесь над стариком! – наконец, сдался Василий. – Не я, так кто-то другой это бы сделал, нечаянно в лаптях рожь домой принёс!

– Вот тогда мы бы судили не тебя, а того, другого, – ответили ему судьи.

– А где суд, там и неправда! – необдуманно сказал Василий.

В результате Василия осудили, условно и под надзором милиционера на подводе съездовым Колькой Куприяновым, 2/Х-1932 г. отправляли его в Арзамас в тюрьму, где его продержали с неделю. Попугали, чтобы другим неповадно было, испортив у Василия ни одну каплю стариковской крови. Возвращаясь из Арзамаса с ездovým Колькой на подводе домой, возвращались ещё трое мотовиловцев: счетовод колхоза Крюков Иван Никитич с колхозными деньгами, которые он вёз в портфеле, ветфельдшер Буров Д.И. и Миронов И.И. В дороге Крюков слез с повозки, чтобы опорожниться, оставив портфель в телеге. По взаимному стовору Буров и Миронов приказали Кольке лошадь гнать галопом, Колька погнал,

но сопротивлялся. Который-то из злоумышленников обухом топора ударил Кольку по хребту, отчего Колька вскоре умер.

Последний Покров в Мотовилове. Церкви и тюрьмы

Покровская обедня окончилась благодарственным молебном с водосвятием и пением многолетия. От сильных возгласов дьякона Константина Порфирьевича Скородумова и певчих буйно содрогался церковный воздух, так что гасла свеча. После окропления святой водой православных, поп перед прихожанами прочитал назидательную проповедь, в которой, между прочим, упомянул, что нашей покровской церкви от её создания исполнилось 95 лет; не предполагая, что этот праздник Покрова в нашей церкви празднуется в последний раз, потому что в великом посте 1933 года церковь в селе Мотовилова по указанию из Арзамаса закрыли.

Бабушке Савельевой Евлинье, по её молитве бог привёл помереть пока церковь была ещё не закрыта. Она умерла 2-го декабря 1932 года. Отпевали её в церкви и похоронили, как и подобает христианке, под траурные звуки большого колокола. На колокольне ударял в колокол бабушкин внук Ванька.

Поборники современной культуры всюду и везде провозглашают: «Религия – дурман для народа! Россия – тюрьма народов!» А вот Фёдор Крестьянинов с этими лозунгами был

не согласен, он говорил:

– Только религия способна разоблачать прохвостов и жуликов всех мастей, только верующие люди беспощадны к разного рода вероломству, – и, восклицая, говорил, – О, Матушка Россия! О, Родина! Тебя, родная, жаль! Разрушая церкви, правители вынуждают христиан отказываться от веры. Церкви-то разрушают, а из церковного-то кирпича тюрьмы строят! Вот тебе церкви и тюрьмы сравняем с землёй! – негодуя, возмущался Фёдор. – Ах, вернуть бы всё былое назад, от сознания, что всё старое и хорошее ушло безвозвратно! Кануло в лету, на сердце нахлынет щемящая грусть тоска, внутри притаённо теплится жалость к бывшему и запоздалое раскаяние.

Вспоминая былое и предчувствуя, что новые времена сунут и чего-то нового и, причём неслыханное, Фёдор с прискорбием тяжело вздыхал и тягостно охал. Ломка старого быта неумолимо надвигалась!

Святки и Васька Демьянов.

Ужишки и кошка

Вот и снова наступила зима. Наступил новый 1933 год. Прошло Рождество, наступили святки, время безудержного, взбалмошного веселья в кельях сельской молодёжи. Заведена же на Святках в кельях такая идиотская манера: некоторые парни, нахлынув к девкам в келью, бесцеремонно зайдя в чулан, рыская по полкам и укромным местам, отыскивают девичьи пироги и лепёшки, принесённые ими из дома себе на ужин. Парни же, если найдут эти девичьи харчи, непременно их сожрут, по-идиотски хихикая и по-лошадному гогоча, при этом дико от удовольствия, хваля или хая эти ужинки. Догадливая и дотошная Дунька решила отвадить парней от этой дурацкой привычки. Она, в келью захватив из дома лепёшку, преднамеренно потыкала ею кошке под хвост, и, не спрятавши, положила её в чулане на полку в досягаемом месте. Вломившийся в келью Васька Демьянов, следуя дурной традиции, бесцеремонно вторгся в чулан, старательно принялся за поиск девичьих ужинов и сразу же наткнулся на Дунькину лепёшку. Схватив эту лепёшку с дикой радостью захлёбываясь от удовольствия, Васька выпорхнул из чулана. Скоробив на лице отвратительную улыбочку, сдобрив её какой-то гаденькой ухмылочкой, ощерившись во

всю рожу, он принялся поедать эту лепёшку, ухобачивая за обе щёки. Пока Васька ел, Дунька молчала, а когда он с самодовольным видом оплёл всю лепёшку, Дунька с ехидством хихикая, спросила:

– Ну, как Васёк, сладкая лепёшка-то, ай нет?

– Эх и сладка! – наивно улыбаясь с ухмылкой отозвался Васька.

– Как ей сладкой-то не быть. Это моя лепёшка-то, перед тем, как положить на полку, я этой лепёшкой потыкала кошке под хвостом!

Девки, и присутствующие тут парни дружно гахнули: покатились со смеху. А Васька же, услышав такие Дунькины слова, очумело вытаращив глаза, ладонью зажав рот, кхекая от приступа тошноты, по-лошадиному протопав по полу избы, чёртом выскочил в сени. Из-за двери слышно было, как из Васьки водянисто выхлестнуло. Опорожнившись, Васька снова вошёл в избу. Отплёвываясь и сумрачно морща лицо, он стал укорять Дуньку за такой неприличный к нему подвох.

– Этот номер тебе, Дуньк, даром не пройдёт. Я тракторист, да причём ещё и член осовнахима, а ты позволила так скверно подыграть надо мной! Я такой насмешки за такое унижение моего человеческого достоинства не стерплю, припомню и отомщу! – материной (Устиньи) стрункой прозвела его угроза в адрес Дуньки, которая и не думала испугаться Васькиных угроз.

– Ну и что ж такого-то, что с кошкиной ж... ты познакомился, – вместе с девками и парнями всё ещё задорно смеясь, отпарировала Дунька. – От кошкиного хвоста благо пахнет и у тебя изо рта не лучше! Ты во рту-то словно пса сгноил! – не переставала издеваться Дунька над Васькой.

– А ты, Васьк, закури! И не будет так пахнуть-то! – предложил Ваське кто-то из парней.

Но Васька не курит с тех пор, как его вот так же на святках парни отвадили от курения, потайно насыпав в свёрнутую папироску щепоть пороха, отчего он опалил себе лицо.

– Васьк, это что у тебя за значок на щеке-то? – спросил Ваську Федька Лабин, присутствующий здесь же в келье.

– Это след от Масленицы в детстве, во время катания я стоял около дороги, а баламутные парни вздумали кататься в обгоны, ну меня и сбило санками лошади под копыто.

– Да у него и так рябое-то лицо пригодно только под форму для выпечки фасонистого печенья! – с издёвкой над Васькой не унималась Дунька.

– Я уж тут ни при чём, я не виноват, что мне на лицо кожа такая дрянь попала! Раз так меня природа наградила, я и сам не рад. Хоть я и рябоватый, но зато приглядчивый! – постепенно смиряясь с Дунькой, с наивностью отговаривался Васька. – Вот достану девьего молока, умоюсь им и красивым стану, тогда, Дуньк, берегись, тебя своей невестой считать буду! – с самодовольством высказался Васька, закатываясь от весёлого смеха, отчего его неказистое, широкое ли-

цо расплылось в какую-то бесформенную лепёшку.

– Нужен ты мне такой вахлак, свиной носик, харя у тебя с решето, как месяц в полнолуние, а взглянуть не на что! – с явным издевательством осаждала Дунька Ваську.

– Ну-ка, Васьк, уйди-ка с этого места, я сяду, вертится у всех под ногами, как бобик, – с укором столкнув с места на лавке Ваську, уселся рядом с девками Федька Лабин.

Васька с достоинством тракториста и, как он выразился, члена осовнахима, огрызнулся на Федьку.

– Ты кулацкий сынок, не очень-то яхрись!

– Эге! – затронуто удивился Федька.

– А сколько в тебе весу-то? – уничтожающе спросил он Ваську.

– Сколько бы ни было, это не твоего ума дело! Сейчас – четыре пуда, а через год будет пять! К твоему сведению! – горделиво и бойко изрёк Васька перед Федькой.

Чистка колхоза.

Савельевы исключены

Когда в колхозах оказалось объединено более 90% крестьянских хозяйств, тогда правительство решило, подобно чистке совпаррата и партии произвести чистку колхозов, т.е. избавиться от негодных элементов, которые якобы мешали процветать колхозам. Заранее, втайне велись списки, в которые заносились те или иные порочащие замечания, за отдельными колхозниками. Среди лиц, подпавших под чистку, были Комаров Яков и Савельев Василий. За Комаровым вспомнились порочащие его личность былые факты, а также и неблагонамеренные разговоры среди людей и истинной жизни колхозников колхоза «Привольная жизнь», в которой была послана делегация из Мотовилова, в которой участвовал и Яков. За Василием Ефимовичем Савельевым, так же было замечено и зафиксировано кем-то и где-то немало порочащих его личность фактов. Ему, в частности, ставилось в вину то, что ранее ещё до колхоза он, выручая односельчан, давал им займы до нового урожая хлеб и якобы брал за это проценты. Да и теперь, будучи колхозником, следуя своим убеждениям, часто ничем не маскируясь и не таясь, не сдерживая свой язык, он, по замеченным недостаткам в колхозе, часто высказывал свои критические мысли среди людей, ко-

которые не в нос были некоторым колхозным правленцам. Василий также неодобрительно высказывался о многопольном севообороте и о тракторной вспашке. Он возмущался:

– А зачем эти поперечины. Глубокие борозды в поле понаделывали, землю испородовали?!

– Как зачем? Чтобы урожай поднять! – отвечали ему.

– Вот именно, чтоб урожай от земли в поднебесье поднять! Чтобы его на земле не видно было. Урожай-то навозом поднимать надо, а не трактором. От него вместо навоза-то одни масляные пятна на земле видны, а на них хлеб-то вряд ли расти будет!

Такие высказывания современным агрономам не нравились, и они послужили причиной обличения Василия во время чистки. Его высказывания были и ещё:

– Раньше в поле мужики дневали и ночевали, а теперь не из-за чего: всё стало не наше! День ото дня всё хуже и хуже! У крестьянина всё из рук выбили! В поле рожь цветёт, а у мужика-труженика сердце не радуется! Раньше, если по дороге лошадь проедет и оставит за собой навоз, то целая стая воробьёв и галок налетала на добычу, выбирали в нём зёрнышки овса, а теперь на лошадиный-то помёт и птицы-то не обращают внимания, он пустой, не хлебный. Кормят бедных лошадушек одной гнилой соломой, небось, с неё у коня-то силы немного будет. Да и птиц-то ныне мало стало: бывало, целыми тучами летали галки и воробьи, а нынче и этой погоди не видно. А голуби и вовсе перевелись, видать их всех

Митька перестрелял! Да и на небе звёзд что-то мало стало: где-нигде звёздочка, не как бывало всё небо было звёздами усыпано!

Жалея птиц небесных, Василий Ефимович мыслил про себя: «И как вольным пичужкам не идти на убыль, в поле бывало, мы, мужики, землю навозом усыпали, а теперь минеральные удобрения вносят, а оно для птиц прямая пагуба. И червяки-то в земле все химией пропитаны, так что, например, скворец угостит своих птенцов таким червячками, те и ножки вздёрнут! Так же и многопольный севооборот: раньше при трёхполке весной прилетевший сюда, на свою родину жаворонок знал, где ему гнёздышко вить, а теперь пригревшемуся на полевой проталинке жаворонку перед постройкой своего гнезда, надлежит поразмыслить: «Если я себе гнёздышко совою вот тут вот, а случайно, не приедет вскорости сюда какой-нибудь Васька-тракторист со своими трактором и, вспахивая землю, не перевернёт ли моё тёплое гнёздышко вместе с моими птенчиками вверх тормашками! И тогда поотплакав о своих деточках, что мне остаётся делать, другое гнездо вить уже поздно, да и опять же не уверенно, где вить-то его, ведь не прежняя трёхполка, я при ней уверенно знал, где земля не подлежала вспашке в это лето, а теперь же многополка – совою гнездо вот там, а Васька может и туда приехать, и снова беда! Потому что мы, птицы, совсем запутались в этой многополке!»»

Василий Ефимович в адрес сельских правителей с недо-

вольством высказывался и в отношении религии, в частности, в вопросе закрытия церкви:

– Где жители села отводили душу, приобретали духовную пищу. Вот правители какие, способны только разрушать, а не созидать!

Василий Ефимович не знал и даже не предполагал, что против него готовится полный список обличительных «фактов», порочащих его как личность, послуживших причиной к его исключению из колхоза при чистке. А он с неведома продолжал пополнять эти «факты» без всякой маскировки, высказывая критические слова в адрес сельских руководителей. Дня за три до чистки Василий Ефимович за обедом высказался перед Любовью Михайловной:

– Как-нибудь выберу время, схожу в правление колхоза, проверю трудодни, поругаюсь, уж больно трудодни неправильно в книжку заносят. Писарей в канторе много, а толку мало, спросить, чтобы растолковали, не у кого!

Он шёл по уличной, густо покрытой жидким конским навозом, дороге, на дороге кормясь не переваренными в конском брюхе овсяными зёрнами, перелетая с места на место, сопровождали его две вороны, уступая ему дорогу. Придя в контору, Василий Ефимович, увидев столь большое количество столов и за каждым человек-служащий, прежде всего, неодобрительно и с недовольством высказался по отношению к чинам, сидящим за столом.

– Эх, сколько тут столов-то понатыкано! И сколько вас

тут, чиновников-то, понабуркалось! Одни столы, да начальники! – с нескрываемой насмешкой добавил он.

И, прочитав на стенах все лозунги и плакаты, он просил счетовода, ведущего дело о трудоднях, проверить правильность в начисленных. Во время сверки Василий Ефимович обнаружил неправильность в записях не в его пользу, на что он, вспыхнув, разгорячился:

– Скажи на милость, я каждый божий день работаю, трудодни должны быть систематически вписаны, а у вас тут полная тарабурда в записях-то! И чем только вы тут занимаетесь, грамотеи-дармоеды! – неодобрительно разгорячившись, проворчал он на счетоводов. – Много пороков у частной собственности, а порядку при ней больше было! – с недовольством к колхозу в целом необдуманно сорвалось у него с языка.

На что сидящие за столами сурово насупив брови, осуждающе посмотрели в его сторону, затаив мщение при случае.

Собрание о чистке колхоза было назначено на вечер 22-го марта в помещении избы-читальни. Народ со всего села валом валит к избе-читальне, всем и каждому интересно же узнать, как это будут чистить провинившихся колхозников. Около избы-читальни табунился собравшийся народ. Мужики, дымно куря, толпились около крыльца, переминаясь с ноги на ногу, млели, нудились в неизвестности. Бабы овечьим табунком стояли поодаль, перешёптываясь, изредка посмеи-

вались. Мужики иногда меж собой переговаривались, смеялись, с ехидством хихикали и задорно гоготали. Тут сутолока и разговорный гомон: возбуждённо говорили, громко толочат, всяк своё.

– Ну что, мужики, сегодня посмотрим, как некоторых обобр...х колхозников чистить будут! – послышался из толпы резвый голосок Саньки Джигита.

На что толпа ответила буйным и задорным хохотом, отчего стая воробьёв, сидевшая на заборе Лаптева огорода, с испугу шумно поднялась, и дружно перелетела на вяз, росший на самом берегу озера. У каждого стоявшего в мартовской вечерней прохладе у рта парной дых. Многие уже вошли в помещение избы-читальни и заняли места на скамейках, а многие, томясь в ожидании начальства, стояли тут, на улице. Из здания сельского совета подошли, наконец-то члены комиссии, которой поручено произвести чистку колхоза. Тут: Федосеев, Грепа, Мишка Ковшов, Дыбков и двое представителей из Арзамаса: Васляев и Песикин. Встречая их, множество лиц, толпящихся здесь людей, подобно цветущим подсолнечникам, повернулись в их сторону. Начальство проследовало в нутро избы-читальни, и народ последовал за ним. В зале набилось столько народу, что стало очень тесно, как цыплёнку в скорлупе. Участники собрания разделились на два враждебных лагеря: «незамаранные» – активная часть колхоза, заняли переднюю часть зала, ближе к сцене, а подлежащие чистке – «замаранные», заняли заднюю часть зала,

где сравнительно темно, куда плохо доходил свет одинокой керосиновой лампы, и близость двери.

Василий Ефимович Савельев «чистился» последним. Все порочащие его личность факты зачитал Васляев, в заключение он добавил:

– В настоящее время хозяйство Савельева не средняцкое, а зажиточное! Так что его можно из колхоза тоже удалить и налогами осадить, – приговорено зачитал Васляев.

В прениях (видимо, по наущению) в тоне опороченья и сведения каких-то личных счётов против Василия Ефимовича выступил Мишка Ковшов! В своей «обличительной» речи Мишка нёс такую небылицу и напраслину, что Василий Ефимович чувствовал себя подобно жеребёнку, на шею которому впервые накинули хомут. Слушая Ковшова, его надуманное враньё, у Василия Ефимовича от негодования даже сорвалось с языка:

– А ты, Мишк, очнись, пошарь во лбу-то, не во сне ли всё это выдумываешь. Хуже себя ищешь, вряд ли найдёшь!

На что Мишка ничего не мог возразить, а только выкрикнул:

– Не всё коту масленица!

Подпеваючи добавил и Грепа:

– Придёт великий пост!

– Граждане односельчане! Явите божескую милость, укротите этого вруна Мишку, у которого голова не знает, что

мелет его язык! – взывая к народу, сидящему здесь в зале, встав с места, обратился Василий Ефимович, ожидая от кого-нибудь услышать слово в свою защиту, но никто из присутствующих в зале не отважился подняться с места и ради справедливости молвить защитительное слово в оправдание Василия, одни были враждебно настроены, а другие из трусости, опустив глаза, выжидающе молчали.

Видя, что ни от кого защиты нет, Василий Ефимович изрядно взволновался от обиды и, для смелости подпрыгнув, сам повёл свою оправдательную речь, в которой не было никаких признаков ораторства.

– Товарищи-правленцы, сначала вы заманивали и можно сказать, силком затаскивали людей в колхоз, а теперь вычищаете, как негодных элементов! – бия себя кулаком в грудь, он с досадой на других и со слезами на глазах к президиуму и обращаясь к народу, жаловался: – За что трудовое крестьянство ставите под такой невыносимый удар, за что на нас, степенных тружеников, льётся ложь и грязь? Теперь мы вот, которых вы только что вычистили, да и я на пороге этого стою, значит, мы вам стали не нужны! Это разве по закону? А где правда-то! – с гневом возмущался он и продолжал, – Получается так, видно, не испробовав кислого, не поешь и сладкого! Когда я вступал в колхоз, то в нутре у меня не знай что творилось, я три ночи уснуть не мог, от жалости лошади, молотилки, двух веялок, телеги, инвентаря и сбруи, которую пришлось обобществить и своими же руками отвезти на

колхозный двор. Если бы в то время в мою душу пригласить урядника, и он был бы не в состоянии навести порядок среди хаоса и коловерти в моей душе. А когда сам себе не волен и в дверь стучится принуждение, то тут рассудку в голове делать нечего! И вот теперь снова терзание души. В колхозе только было пообвык, принатурился и вот на тебе, попал под метлу, под чистку! Попал к вам, правленцы, в немилость, и что в результате можно от этого ожидать, только казнь души! Здесь я наслушался массу незаслуженных оскорблений в мой адрес. А зачем невинного человека втоптывать в грязь и без наглядных фактов честного человека совать под колесо! Здесь не собрание, а арена сведения личных счётов и мщение! А если и есть ко мне по колхозу какие претензии, то их выскажите мне прямо в глаза, а не заранее где-то там, в совете, потайно решать судьбу человека. Ведь так делать свыше не дозволяется! Незаслуженно опорочить мой незапятнанный авторитет, на это ума у некоторых хватит! У человека крестьянина-труженика обрезать крылья не долго, а обрезанные крылья не скоро вырастают! А ты, Мишк, не рой яму. Как бы в неё самому не ввалиться. Я тебя давно провидел, лихой ты человек. И чем я тебе так досадил, что ты меня под такой удар ставишь, а я твоему отцу былое время добро делал, или хорошее-то скоро забывается! А такого нахальства, как от тебя я ещё не знавал. Хошь обижайся, хошь – нет, а я перед всем собранием скажу, что ты своё благополучие в жизни стараешься заполучить за счёт труда честных труже-

ников, так как ты сам есть горлодёр, жулик и вор! А на моё выступление не обижайся, я только сказал сушую правду!

Видя, что у Василия Ефимовича получилась неплохая оправдательная речь, присутствующий на собрании Михаил Жарков, ради справедливости решил сказать пару слов в его поддержку. Не торопливо поднявшись со скамьи, он промолвил:

– На Василия Ефимовича напрасный поклёп насчёт процентов, мне самому приходилось не раз брать займы, у него хлеба, но он с меня никогда и никаких процентов не брал. А если было, то это всего скорее при царе Горохе! А Мишка на него нахально врёт! Но, видимо, такова участь честного человека! – закончил Жарков.

Такое выступление Жаркова комиссии не понравилось, отчего сидящие на сцене в президиуме зашептались и, сочтя Жаркова подпевалой, лишили его слова для дальнейшего выступления.

– Молодец Михаил Спиридоныч! – похвалил Василий Жаркова и к президиуму: – Так сделайте божескую милость, не выключайте меня из колхоза, не губите понапрасну меня крестьянина-труженика, пощадите, – чуть не со слезами зывал Василий Ефимович к членам комиссии по чистке, и растроганно обращаясь к народу. Его выступление оказалось гласом вопиющего в пустыни! Не только нелегко, и нерадостно было на душе у него, но неприятно горько во рту, и тягостно во всём его теле и во всей его внутренности. Насиль-

но сдерживая себя от нахлынувшей печали, боясь того, как бы не разрыдаться перед людьми, он с усилием удерживал просившиеся на глаза слёзы обиды и досады на лжесвидетелей. Сплетя вязью руки на груди, он с грустью смотрел на собравшихся здесь односельчан, от суждения которых зависела его судьба.

Но члены комиссии невозмутимы и беспощадны, они не внемлют горю человека:

– Москва слезам не верит, – кратко пословично произнёс Васляев.

– Как было у нас намечено, так и будет обеспечено, – добавил к словам Васляева Песикин.

– Кто за то, чтобы Савельева Василия Ефимовича из колхоза вычистить, тех прошу поднять руки! – приступив к голосованию, попросил собравшихся в зале, председательствующий Федосеев.

В зале общий приглушённый гул, и робкий взлёт рук вверх.

– Кто против?

Отдельно редкие поднятые руки.

– Никого! – констатировал Федосеев. – Значит, единогласно, Савельев считается из колхоза вычищенным, – добавил он.

Во время проведения собрания не всё шло гладко и тихо, было много шума и гама. Иногда орали почти все, не жалея своих глоток, от общего гвалта непонятно было, кто защи-

щает того, или иного подлежащего к чистке, колхозника, а кто за то, чтобы его вычистили. А под самый конец собрания люди в зале и совсем развольничались, то ли от того, что от скопившейся жары вспотели как в бане, то ли от того, что всем уже надоело, только разомлев, многие уже спали, а из разных углов зала слышалось прищемлённое девичье хихиканье, развязное ребячье «ха-ха-ха», и воздержанное степенных людей «го-го-го»... А когда по скамье раздалось чьё-то несдержанное придавленное газоиспускание со звуком, то тут и вовсе пошла суматоха и невообразимая кутерьма. Взрывной волной все гвахнули, и пошёл сплошной гвалт с заводным трескучим посмехом взахлёб, сдобренный брызганьем летучей слюной. Всюду виднелись настежь раскрытые, смеющиеся рты, от напыщенности, из некоторых, особенно из щербатых, летели пенисто-белые слюнявые брызги.

– Это кто ухнул, узнать бы да постыдить! – подал голос сидящий в средних рядах Николай Ершов, когда задористый смех пошёл уже на убыль.

– Узнай! – ответил ему кто-то сидящий у стены.

– Тут разве узнаешь, в этой кутерьме виноватого днём с огнём не отыщешь! – отозвался Николай.

– А ты обыщи, найдёшь, всё твоё, Николай Сергеевич, будет! Лови! Николай! – под новый, общий ядрёный взрыв смеха, кто-то из шутников попотчевал Николая.

– Я ловлю, да тебя, невежа, кормлю! – с весёлой усмешкой отпаривал Николай.

Переживания Василия Ефимовича. Наказ Трынкова

Как только на собрании до уха Василия Ефимовича дошли слова, извещающие, что он из колхоза вычищен, так по всему его телу прошла какая-то тревожная, предвещающая недоброе, подобно электрическому току, неудержимая дрожь. Вдруг, между ним и колхозом упала какая-то невидимая колючая изгородь. И теперь, идя с собрания, он, погрузившись в глубокое раздумье, в тягостном настроении обдумывал своё будущее житьё-бытьё. Он с большой тревогой размышлял о том, что теперь ему не за что взяться: лошадь и инвентарь остаётся в колхозе, землю если и выделят, то только в заполице, да и чем её обрабатывать. «Чем же я буду кормить свою семью, а ведь у меня на шее ещё четыре малолетних члена семьи: Васька, Володька, Никишка, Надя. А правители теперь будут меня избивать непосильными налогами, для этого и вычистили», – в таком тягостном и мучительном раздумье с муторным холодком на душе Василий Ефимович шёл домой, ничего не слыша постороннего и ничего не видя перед собой. Он слышал только, как хрустит под его ногами на дороге подмёрзший вечером ледышек, да шуршит смёрзшийся снег. То его ноги натыкались на твёрдые смёрзшиеся снежные комья на дороге, то проваливались

в весенние лужицы, затянутые тонким звенящим ледешком.

С грустью размышляя о печальном будущем Василию Ефимовичу не без надежды на просветье вспомнилось, что сегодня 22-е марта по новому стилю, а по старому 9-е – «Жаворонки» и христианский праздник «Сорок святых и преподобный Илиан», авось все мои эти душевные испытания будут не так тягостны, святые богоугодники заступятся за изгнанника правды ради.

Придя домой, Василий Ефимович не сразу объявил семье о том, что его вместе с семьёй из колхоза исключили с мрачным видом на лице, но долго раздевался, с медлительностью копошился у стенной вешалки, долго не мог повесить свой меховой пиджак, у которого, как назло, оторвалась вешалка, что ещё больше придало пищи к его злобному настроению.

– Ты что такой сердитый и злой? – спросила его Любовь Михайловна, чтобы нарушить тягостное молчание и семьи, и только что вернувшегося с собрания главы семьи.

– Будешь злой, вот пеньжак-то надо бы повесить, а вешалка-то, видно, не руками была пришита, – с упрёком отозвался он.

– А ты бы не этот пеньжак-то одевал, а есть ведь полегче. Ведь весна наступила сегодня, «Жаворонки», – посоветовала Любовь Михайловна.

– Нет уж, ты сама поди да постой на таком-то ветрище. На улице-то хоть и весна, а стужа несусветная! Темень хоть

глаза выколи, и на дороге бураки какие-то. Я и так шёл и ногами затыкался! – словесно оборвал он её.

– А ты, отец, не больно огрызайся, ведь я тебе николи поперёк слова не говаривала, всё делала по-твоему, а от тебя в жизни никакой отрады нету! – неуместно пожаловалась Любовь Михайловна, не зная ещё о том, что их хозяйство и семья перешла через мрачную преграду, за которой предвидится тревога и ожидание тяжёлого переживания.

– Вот будет отрада, из колхоза-то нас вычислили! – не своим голосом сказал Василий Ефимович.

Громовым ударом раздалось по всему Савельеву дому сообщение об исключении из колхоза, внёсшее в семью тревогу за её будущее и тягостное настроение Василию Ефимовичу и Любви Михайловне, с укоренением уныния, аханья и оханья!

– Вот так-так! – с испугом на лице произнесла Любовь Михайловна. – Теперь мы и в нищие-то не годимся! – упаднически досадовала она.

Василий Ефимович ужинать не стал, с досады и злобы отбило от пищи, он сразу же улёгся в постель и всю ночь не мог заснуть. В тревоге ворочался с боку на бок и, кряхтя, кашлял так трескуче, словно Илья Муромец дубы из корня драл. Всю ночь с болью в душе он переживал вчерашнее, вспоминая о собрании, после которого между ним и колхозом опустилась какая-то невидимая зловещая чёрная стена, пугающая мраком роковой неизвестности. После тревожной ночи

от бессонницы он встал рано, сходил на двор, расшугал там кур-несушек. В этот день, в который он считал себя уже не колхозником, себя чувствовал дурно и томно: ходил с опущенной головой, его тяготила прилипшая к мозгам мысль о том, что же ждёт его впереди: или полное разорение, или ещё что хуже!

Из всех потайных закровов его души, куда годами складывалась накипь от жизненных несутрациц, сейчас стали вылезать наружу, всплески недовольства и злобы. В его характере и психике произошёл роковой и необратимый перелом: с этого особо тягостного для него дня: 22-го марта 1933 года он стал ненавидеть всё и вся. В его сознании не могло увязаться то, что ему, как крестьянину-труженику не дали воли заниматься единоличным хозяйством, которое он повёл, было, рационально и производительно, и, честно трудясь в колхозе, он тоже кому-то не угодил, и его из колхоза вероломно «вычистили». И он, затаив в себе недовольство и злобу, всем существом своим и мыслями ушёл в себя, жизнь свою повёл полускрытым образом.

– Что, сосед, и тебя за твою-то прилежность, видимо, тоже из колхоза-то вышибли?! – втискивая Василию Ефимовичу долговые деньги, с ехидством и язвительной улыбкой проговорил Фёдор, придя на утро к Савельеву в дом.

– Ты что, сожалея, сочувствуешь, или злорадствуешь с досады, – беспричинно кашлянув и подсадно крякнув, выра-

жая этим крайнее недовольство Фёдоровым изречением.

– Не сожалею, и не злорадствую. Я заранее знал, что в колхозе нам, степенным мужикам, делать нечего, там нам житья не дадут. «Поэтому-то я и не вошёл в колхоз-то!» — сказал Фёдор и чтобы долго не задерживаться у шатров, вышел из избы.

Быть честному среди честных это туда-сюда, а быть же честному среди нечестных ох как трудно! Снедаемый угрызением совести, сторяя пламенем зла и досады на людей, что на собрании, кроме Жаркова, никто не замолвил словечка в его защиту. Василий Ефимович нравственно замкнулся в себе, стал молчалив, дав обещание себе реже выходить на улицу, коробя избегать встречи с людьми, даже и с теми, которые раньше были близко знакомыми. Но случайно зашедшему к нему Ивану Трынку, который, как метит, приходит к Савельевым всегда к обеду, он был душевно рад, и между ними завязалась непринуждённая беседа.

– Ну, как, Василий Ефимович, я слышал, ты с нынешнего дня вольный казак. Колхозу больше не работник, – поздоровавшись за руку, спросил его Иван.

– Я бы был работник, да работать-то товарищи не велят! – с явной тоской отозвался Василий Ефимович.

– И как же так у тебя голова – ума набраться, а вот колхозником ты чем-то не потрафил, – дивился Иван.

– Лжесвидетель злых выдумок, много набралось, заведомом ложный донос на меня состряпали, вот тебе и результат,

я оказался не у дела, – возмущаясь, докладывал он Ивану, садясь за стол обедать, где уже сидела вся его семья.

– Видимо, надо язык держать за зубами, а ухо остро, – сочувственно отозвался Иван.

– Совершенно, – утвердительно сказал Василий. – Уж раз так пообрезали мне крылышки, то уж видимый конец, они скоро не отрастут! – сокрушался он.

– Хотя в своём-то хозяйстве и лучше: хошь работай, хошь отдыхай, и каждый швырок какой в пользу, а в этом проклятом колхозе, как в провальную яму всё проваливается: ни проку, ни приполку! На работу там всяк пошлёт, а за труды спросить не с кого! Получи трудодни, а от них жирный не станешь! А раньше «мёртвые души» и то денег стоили!

– Я в этот самый провальнейший колхоз немало сдал: молотилку, две веялки, лошадь «Вертеху» всю упряжь, добротный инвентарь, с крашенной телегой, а это всё мне в золотую копеечку встало, заботой и непосильным трудом всё это добыто. Недаром от нещадной работы в своём хозяйстве я грыжу себе в паху наломал. А восейка гляжу, а на моей крашенной телеге, на которой я только на базары ездил, да на которую только люди любовались, колхозные конюха навоз с конного двора вывозят! У меня сердце так и ухнуло! А я за неё немалую денежку отвалил, сколь бишь, я тогда за неё выложил? Вот понимай, мысль в голове пляшет, на язык просится, а вспомнить никак не могу! Да хотя и вспоминать-то не следует: хорошее вспоминать – только раны беречь! –

счищая ложкой с краёв чашки пригоревшие к краям ломтики картошки и присоединяя их в общую массу жарева, жаловался Василий Ивану. – Эх, бывало-то, крестьяне в своём-то хозяйстве работали в задор и потеху и праздновали в удовольствие! А нынче всех крестьян загнали в колхоз, отняли у них волю, а рабочих всячески сподобляют, а ведь в сущности разобратся, рабочие-то производят одни железки, без которых можно и обойтись, а мы, крестьяне, производим хлеб, без которого народ и дня не проживёт! Надо бы в жизни-то сподоблять не рабочего, а крестьянина-труженика, – мечтательно высказывался Василий перед Иваном. – А это нашлись бесчувственные гонители – шантрапа, да с каким-то ещё высокомерным гонорком, оболгали, обесчестили честных людей и из колхоза вычистили, как будто мы хуже всех в селе-то! Я этой обиды голодранцам не забуду!

– То-то я замечаю, ты, Василий Ефимович, при встрече-то не совсем здороваешься! – заметил Иван.

– С хорошими-то людьми я здороваюсь, а с плохими-то у меня на это рука не поднимается. Да и мне за то не все честь отдают. Плохие-то мимо проходят, а хорошие-то со степенством приветствуют, вылезая из-за стола и крестясь, – проговорил Василий Ефимович. И, желая закончить беседу и выпроводить Ивана, так как он своим присутствием уже изрядно надоел, он, позёвывая, проговорил: – Я сегодня раненько встал, не выспался, не дозрел малость, надо прилечь вот тут, на диван.

– Да, чуть было не забыл! – спохватился Иван, взяв шапку в руки, и собравшись идти к выходу. – Ты слышь, Василий Ефимович, собираешься в город?

– Да, а что?

– Чай, купи мне там пачку папирос, в нашей-то потребилке их нету.

– А на что они тебе спонадобились, ты ведь не куришь! – спросил его Василий.

– Да видишь ли, какое дело-то! У нас Колька жениться надумал. Гришка-то постарше, да молчит, а Колька сватать за него невесту посылает, а он-то и знай махорку-самосад глушит, зато от него, как от пса, неприятным духом разит.

– Пускай хоть во время женитьбы папиросы покурит. А я хоть и некурящий, а люблю, когда кто-либо папироску закурит, от неё городом пахнет!

– А каких в случае, папирос-то тебе купить?

– Да каких-нибудь, только не больно дорогих, ну там, «резвон» или «шуры-муры», – они вроде по семи копеек за пачку стоят! На вот, пятиалтынный, и купи на него две пачки, сделай милость, не забудь, исправь мою просьбу!

– Ладно, куплю-куплю, уважу, – пообещал Василий.

Семейные неурядицы. Работа в лесу (египетская балка)

Если говорить о возрасте Василия Ефимовича, то можно образно сказать, что он уже не на ярмарку едет, а возвращается с неё. Буйная одурь молодости уже прошла: бодрость, азарт, задор и сила пошли на убыль. Он стал входить в пожилые лета, но на голове его и признаку нет того, чтоб, например, седели волосы или обозначивались бы признаки лысины. Только заметно стал портиться у него характер, и походка стала не та прежняя твёрдая, а стала враскачку. А после того, как вычистили его из колхоза, настал период его душевного переживания, тревог и боязни нравственного страдания, а в семье пошла полная раздряга и неувязка. И довольство, и тягость семейной жизни стали выражаться в аханье, оханье и в тяжких вздыханиях. Саньке и Ваньке, как взрослым членам семьи, эти тяжкие вздыхания не нравились, они, имея уже свои, хотя и небольшие, заработки, расходовали на себя, минуя отцову общую кассу. Но им не хватало денег на покупку одежды и обуви, из-за чего отец был в обиде, и на этой почве в семье возникали частые скандалы. Санька и Ванька уже вышли из-под отцова подчинения и иногда вынужденно злословили ему, за что упрекала их даже мать Любовь Михайловна.

– Что вы всячески стараетесь прогневать отца-то?! Ведь с нас теперь взять нечего: из колхоза изгнали, заработков у отца нет, так что мы сейчас и в нищие-то не годимся! – со страданием на лице высказывалась она перед сыновьями.

А отец сидел на лавке, молчал и только слушал. От нахлынувшего на него тревожного переживания, весь напряжённый, как назревший чирей, готовый в любую минуту вулканом прорваться и всю разбушеваться.

– Я себе одёжи-то с обувью запас, а вы как хотите! – с тупым безразличием ко всему произнёс отец.

– Видимо, я уж стареть стал, что-то внутри стало покалывать, и грыжа стала сильнее побаливать! – жаловался Василий Ефимович людям.

Да и Любовь Михайловна, имея своё хилое тело и всю жизнь невзрачное здоровье, из-за чего она – частая посетительница больниц, тоже жаловалась перед соседками:

– И так-то я нездорова, да ещё восейка простудилась и вообще захирела! По всему телу какая-то нестерпимая больноота ходит, и внутри стало сильно побаливать, – жаловалась она бабам.

– Как не побаливать... ты вон сколь их народила, девятирех, да чугунов в печь да из печи, для семьи и скотины сколь повыбагривала, белья сколь перестирала и полевые работы тебя не миновали! – сочувственно отзывались соседки.

– Да, зато с каждым годом всё слабею и слабею! – продол-

жала уныло высказываться Любовь Михайловна. – Врачи в больнице сказали: «Мы твою болезнь изучили, поезжай домой и там сама лечись». А когда я там последний раз лежала, в больнице-то, доктора стали давать мне лекарства не в маленьких пузырьках, как раньше, а в бутылках, на которых нарисована мёртвая голова и две косточки под ней. Видимо, для моей болезни это последнее средство. Нет, я уж больше в больницу не пойду! Буду дома лечиться, своими средствами и травами.

В середине мая в воскресенье к Василию Ефимовичу пришёл (тоже вычищенный из колхоза) Бурлаков Михаил Васильевич (кстати, он ранее был активист и даже был председателем сельсовета в 1930-31 гг.) и спросил Василия Ефимовича:

– Ну, как поживаешь, коллега, и чем занимаешься?

– Дома отсиживаюсь и квасок попиваю! – с шуткой отозвался он.

– Квасок-то с водой, я слышал, мельницы ломает, – тоже в шутку заметил Бурлаков.

– Вода-то мельницы ломает, а вино-то ломает и мельницы, и людей! – отпарировал Василий Ефимович.

– Он как домовый, всё время дома сидит, настоящий домосед, сходил бы куда-нибудь на заработки, а его из дому не вытуришь! – с критикой мужа заметила Любовь Михайловна.

– Василий Ефимович, пойдём завтра с нами в лес египетскую балку тесать, я уже договорился, – предложил Бурлаков.

– Я с большим удовольствием! – воспрянув духом, отозвался Василий Ефимович.

На второй же день, в понедельник, в лесу началась работа: из молодых елей тесали так называемую египетскую балку. Здесь были: Бурлаков М.В., Василий Ефимович с сыном Ванькой и Борисов Иван Николаевич с двумя сыновьями. Работая в лесу, несколько ночей ночуя в лесной сторожке, у Савельевых кончился запас провизии. Под вечер, изрядно устав с голодку и обессилев, Василий Ефимович, бредя домой, часто садился отдыхать, пробовал есть траву, понюхал щепку. В этот день он познал цену хлебного ломтя.

Ванька на учёбе в Арзамасе. Работа в колхозе

Во время двухлетнего обучения в Арзамасе, Ванька за этот период времени на хорошее наглядился и плохого повидал! Хорошим в его сердце отозвалось само обучение, посещение кино-парка с его спелыми яблоками в августе, и театров, и кино, где он старался не пропустить ни одного представления, а также посещение реки Течи, где Ванька с товарищами ловил раков. А также добром вспоминается жизнь на частной квартире на улице Карла Маркса №46 у Верховлядовой Марии Петровны и дружба с её сыном Колей. «А поближе-то разве ты не мог квартиру-то найти? Дальняя-то ходьба больно много подмётков поизотрёт!» (Отец) Плохо же то, что частенько приходилось жить впроголодь, стипендии 22 рубля на месяц не хватало, хлеб 600 гр., полученный по карточке, съедался утром, питание в «культурной столовой» было не полноценно, где угощали почти одними щами, прозванными студентами «силосом». Каждую субботу вынужденно приходилось вместе с товарищами ездить домой, в Мотовилово, за продуктами. На вокзале «Арзамас-1» в ожидании поезда с грустью, тоской и завистью приходилось наблюдать, как обедают железнодорожники в буфете. С желанием поест, молодой, развивающийся организм требовал

пищи. Частенько приходилось ездить на тендере паровоза или на буферах между вагонами, что было связано с большим риском для жизни. В летнее время частенько приходилось домой ходить пешком. Однажды, голодные и усталые Ванька с Гришей Лобановым не сумели сесть на попутный товарный поезд, следующий из Арзамаса на станцию Серёжу.

– Дяденька тормоз, посади на кондуктор!

– Я вам посажу!

И они под самый вечер двинулись пешком, отсчитывая шпалы: верста больше, верста меньше! Выйдя из села Ломовки, ночь опустилась на землю тёмная и хмурая, сверху напрашивался дождь. В темноте сбившись с дороги, друзья направились бездорожно – наугад. В овраге Осиновке они наткнулись на горящий костёр, около которого бесчувственно спали два человека. Любопытство пересиливало страх. Гришка с Ванькой к спящим подошли вплотную, чтобы рассмотреть их, но они не почувствовали и продолжали громко храпеть. Во избежание неприятностей, друзья не стали будить незнакомцев, а поспешно удалились от них, имея направление в сторону, где предполагалось нахождение села. Но темень не позволяла разглядеть что-либо вдали. В довершение неприятностей, небо стало ещё сильнее заволакиваться тёмными тучами, закрапал дождь, а вскоре он хлынул ливнем. На счастье ребят, на Мотовиловской колокольне ударили двенадцать раз. Ребята, воспрянув духом, рысью

побежали к селу.

К плохому виденному в Арзамасе Ванька отнёс и то, что ему лично, своими глазами, пришлось наблюдать, как сбрасывают колокола с церкви и ломают их, а в Соборе открыли музей. Ванькина память выхватывала из общего вороха впечатлений отдельные обрывки виденного, подсовывала яркие виденные им сценки с подробностями разговора участвующих в этих сценах людей, в частности, случай, происшедший с ним в зале Зимнего театра, где при большом количестве людей на сцене во время показа гипнотических номеров однокурсник Ванька Шалашов крикнул в зал похабное словцо!

Во время бесшабашного познания наук Ванька с Панькой как-то в зимнее время решили из льдины вытесать линзу – большое увеличительное стекло, при помощи которого они мечтали зажечь солому для костра. Из затеи ничего у них не получилось. Изучая пение петуха, Ванька однажды за час насчитал: петух пропел 60 раз! Считая фотографирование большим чудом, Ванька, скопив денег, купил фотоаппарат и стал снимать в селе ребятишек, но из-за немудрящих знаний в этом деле у него редко получались сколь-нибудь сносные снимки. Но в народе был разговор:

– Вот ведь затейник нашёлся!

– А видать Ванька-то Савельев большой выдумщик!

– Он у нас волшебник, чего только не придумает! – вторила людям и Ванькина мать Любовь Михайловна.

– В голове у него бездна премудростей, он проказник и выдумщик! – говаривала и покойница бабушка Евлиния.

Ради шутки и забавы Ванька отыскивал свою звезду на небе.

По окончании учёбы в Арзамасе Ваньку послали отрабатывать по дорожному строительству в город Уржум, где он пробыл всего-навсего две недели. По приезду из Уржума, Ванька вместе с отцом стал в лесу тесать египетскую балку, но через неделю случился пожар на Западной улице, где Ванька обжёг себе руку, эта работа на всё время прервалась. После того, как рука поджила, Ванька съездил в Арзамас, где в школе ему дали направление на работу в Константиновский район. Живя в селе Тепелеве, Ванька работал там два месяца по той же специальности – строил грунтовые дороги.

Хоть и исключили отца из колхоза, но Саньке и Ваньке, как комсомольцам, разрешали работать в колхозе. Так Ванька работал в поле: жал рожь, косил вику, рыл ямы под зернохранилище, работал с плотниками. 27-го августа, того же 1933 года в правах колхозника восстановили и отца, так как Санька, пользуясь авторитетом, хлопотал об этом, что и увенчалось успехом.

– Вот она когда правда-то восторжествовала! – обрадованно провозгласил Василий Ефимович.

Возмужание и знакомство с Наташкой

С января этого 1933 года Ваньке попёр восемнадцатый год, он вступил в горячую пору зрелого юношества, характерного тем, что на лице его появились признаки усов и бороды, хотя бритва ещё не касалась этой его лицевой флоры, навсегда попрощавшись с золотым детством и отрочеством. Саньку к осени этого года забрали в Красную Армию, и Ванька в семье Савельевых встал на место Саньки, на место первосортного жениха. На колхозном конном дворе, который всё ещё находился во дворе Савельевых, ночным сторожем был поставлен Николай Ершов. Проказницы Анка и Наташка решили подшутить над простаком Николаем. Вечерней августовской порой, когда уже совсем стемнело, во двор к Николаю, где он около немудрящей постели конюхов дремотно клевал носом, потайно подошли и присели к нему эти две насмешницы и поздоровались с ним.

– Здорова, Николай Сергеич!

– Здравствуйте! – с наивностью в голосе отозвался Николай.

– Сторожишь?

– Сторожу! – по-простецки ответил он.

– А мы к тебе!

– И зачем же вы ко мне пожаловали? – не предвидя никакого подвоха, осведомился Николай.

– Ты рай не знаешь, зачем мужики к бабам ходят и бабы к мужикам, затем и мы к тебе пришли, – едва сдерживаясь от смеха, проговорила Анка, а сама готова была разразиться задорным смехом, щёки её были напряжены до предела, только густая дворная темнота могла скрыть всё это.

– Ну тогда просим милости! – по-петушиному воспрял от дремоты Николай, почувяв такую набежавшую на него лакомую добычу.

– Только нас две! – предупредила Анка.

– Ну и что ж, что две, обеих обслужу! – яро встопорщился Николай.

– Ты которую первую-то из нас целовать-то будешь? – едва сдерживаясь от душившего смеха, спросила Анка.

Наташка, сидевшая несколько поодаль от Николая, всё терпела, чтоб тоже не рассмеяться, но тут, не выдержав, ядрёно прыскнула и захохотала во весь двор. С каким-то телячьим восторгом заржала и Анка, и они обе выскользнули со двора, приглушённо хихикая, из боязни, как бы не всполошить хозяев двора, которые уже спали. Не спал только Ванька. Наслаждаясь прелестью глубокого августовского вечера, он стоял около крыльца своего дома и, заслышав суматошный женский весёлый смех, подошёл к насмешницам.

– Это вы тут что делаете, проказницы?! – шутейно обратился Ванька к Наташке и Анке.

– Да это мы вон со сторожем, Николаем, любезничали! – с усмешкой проговорила Анка.

– Слушай-ка, Вань, я слышала, у вас в огороде подсолнечники больно хорошие поспели, пойдём их воровать! – глядя в упор в глаза Ваньке, смело проговорила Наташка.

От неожиданности Ванька в первые секунды стеснительно растерялся, но тут же, встрепенувшись всем юношеским телом, взором упёрся в ласковые, манящие к себе глаза приятной молодой женщины. Давясь сухой спазмой, нахлынувшей на него, он с трудом выдержал на себе этот изучающий взгляд, от остроты и притязания которого он едва сдержался, чтобы не броситься к ней и любовно прижаться к её трепещущему телу.

– А мне куда деваться-то! – понимающе всю обстановку, с улыбкой на лице протянула Анка.

– А тебя, наверно, Колька давно ждёт! – бойко отрезала Наташка, когда они с Ванькой направились к огородному тыну, в котором воротца, ведущие в Савельев огород.

– А ты, случайно, мальчишка, не шалун? – притворно спросила Наташка Ваньку.

– А что? – не понял, на что намекнула Наташка.

– Я с тобой пошла, а ты надёжный?

– Да ты за кого меня считаешь? – обидчиво пробормотал Ванька.

Они тайком прошли картофельником, обогнув сарай. У сарая воротца, дрожа всем телом, Ванька их приоткрыл, про-

пустив в огород Наташку. Она, слегка споткнувшись о что-то, приглушённо ойкнула, рукой схватилась за грудь:

– Эх, видать брошку обронила! – с жалостью в голосе шёпотом проговорила она.

– Где? – задыхаясь налетевшей спазмой, выдохнул Ванька, примкнув к Наташке вплотную.

– Вот тут в лужке, давай искать! – припав на колени и глядя любовными глазами на Ваньку, приглушённо сказала она.

Ваньке не оставалось больше ничего делать, как только крепко обнять Наташку и губами припасть к её губам.

– Эх, как ты меня всю изваландал! – притворно улыбаясь, стряхивая с себя прилипшие пожухлые луговые цветочки, когда они уже сидели на бревне и грызли подсолнечники.

Возвращение Яшки. Пожары. Братья-поджигатели

Больше двух лет скитался на стороне Яшка Дуранов. Жил в Москве, а после свиданки с Федькой Лабиным пальнул на юг. Писем матери Яшка не писал, известия от него не было, как в воду канул: поэтому-то мать, подумав, что его уже нет в живых («сломил себе буйную голову») и решила записать его в поминанье. Исколесил Яшка пол России, всего повидал: хорошего нагляделся и плохого наимался, но за последнее время затосковал (видимо, поминанье-то на него повлияло), решил вернуться домой. Он вернулся в своё родное Мотовилово с лихими намерениями и бандитскими выходками.

– Где странствовал? – спросил Яшку его друг Петька, когда они сидели за столом и в честь возвращения Яшки выпивали.

– Далёконько! Отсюда не видать! – уклончиво отвечал Яшка на вопросы друга. – Если бы мамка меня не записала в поминание, и не напала на меня тоска, то я бы и сейчас по воле шлялся и домой бы не скоро возвратился! – откровенничал перед другом ухарь Яшка.

– Ты, Яшк, чай на стороне-то, небось, разбогател? – допытывался Петька.

– Наоборот, дошёл вплоть до ручки: в одном кармане

вошь на аркане, в другом блоха на золотой цепочке! – отшучивался опьяневший Яшка.

– Это, пожалуй, наподобие блудного сына? – острил перед другом Петька.

– Да, пожалуй, вроде его! – признательно утверждал Яшка.

А сам, имея замысел и намерение отмщения, для увеселения души и потехи с пьяных глаз спрашивал Петьку:

– А кому бы подбросить «красного петушка», на долгую память? Я теперь стал ещё отбойнее и смерти даже не боюсь, – откровенно признавался Яшка перед Петькой. – Кто мне поперёк дороги захочет вставать, тому несдобровать! «Красного петушка» дать у меня рука не дрогнет! – он ухарски хвастался перед Петькой и, зажегши спичку, Яшка демонстративно приставлял её к избной стене, изображая этим технику поджога.

И у Яшки слова не расходились с делом: осенними тёмными ночами, пробираясь огородами, он воровски подкрадывался к дворам мнимых его врагов, дрожащими от опьянения руками чиркал спичками и, поджигая соломенные повязи, создавал пожары – ужас и бедствия для людей и наслаждение своей буйной души...

В селе противопожарное дело возглавляли два брата – Мишка и Ванька Лиходейкины. Они от общества арендовали пожарный сарай с двумя насосами, на своих лошадях

должны быстро выезжать с насосами на пожары и тушить их. Была же в селе довольно забавная установка от общества: кто первым примчится на пожар, с насосом или там с бочкой воды, тому должно быть выдано вознаграждение в сумме 5 рублей. Втемяшилась же в буйные головы братьев-противопожарных дружинников такая дурь: за счёт глупой установки по пьянствовать, и они частенько сами искусственно создавали пожары. Один потайно поджигал, другой, заранее запрягши лошадь, как только тревожно загремит набат, первым примчится на пожар, получает премию и вместе с братом-поджигателем у них опять выпивка, а понапившись, с весельем на душе переговаривались между собой и с удовольствием хохотали. Эти два брата пожарников как бы соревновались с Яшкой в деле поджога, но они физически не стерпели само существование Яшки и обещались, при захвате на пожаре они Яшку обреклись бросить в огонь. А «красный петух» безудержно властно разгуливался над селом, то сарай или овин вспыхнет, а то и несколько домов с надворными постройками огнём объест. Обычно пожары первыми замечают долго загулявшие ночью влюблённые парочки. Так и на этот раз, Ванька с Наташкой, любовно обнявшись, сидели на бревне и наблюдали осенний звездопад. Вдруг из-за чьего-то двора вымахнул целый сноп искр, солома быстро принялась и тут же весь двор объяло пламенем.

– Пожар! – в один голос закричали Ванька с Наташкой.

– Горит! – визгливо заверещали невдалеке от пожара

всполошённые бедой чьи-то девичьи голоса.

С колокольной судорожно и часто забили в набат. Тревожный перезвон маленьких колоколов и басовитый язык большого, извещающий о горести, нависшей над селом, взбудоражил ночную тишину спящего села. По улицам очумело и встревоженно, словно муравьи в кочке, тупотно забегали молчаливые спросонья люди. Около пожарища стон, визг, плач с причетами, тревожное лошадиное ржание. Кто-то спешно, гремя ведром, наполнял водой бочку, заехав в озеро по самое лошадиное брюхо. Телегу с бочкой, наполненной водой, лошадь вывезла с резвой скоростью и с места взяла вскачь, а когда хозяин с яростью её ударил вожжой, она взбешённо бросилась в галоп, высоко вскидывая задними ногами, грязью обляпала стоявших овечьим гуртом около пожарища. На пожарном насосе дюжина кряжистых мужиков мерно, с мускулистым нажимом, усиленно качают насос, Санька Лунькин, обливаясь потом, бесстрашно прётся к огню, направляя водную струю из медного ствола туго напружинистой кишки, змеёй тянувшейся от насоса. И как обычно на пожарах, немного поодаль от него идут рассказы о том, кого в каком положении застал пожар. Один парень, видимо, загулявшийся допоздна, ведёт свой непринуждённый разговор перед собравшимися тут мужиками и бабами:

– По крыше огонь пышет, вся обрешётка пламенем занялась, а мы с Гришкой никак в избу не ворвёмся, хозяев-то еле дотыркались, спали как убитые. Я вцепился за наличник,

вскарабкался по стене и давай сапогом окошки бить. Повыбухал два окошка, гляжу, в них появились хозяева с перекошенными лицами от страха и ужаса. Я им помог из горящего дома повыбираться-то, ребёнка из чьих-то бабьих рук из окошка-то принял! Эх, мать честная, признаться, и я с испугу-то перепугался, понамаялся, вот теперь малость отдышался, покуриваю!

А в другой от пожара стороне иной разговор. Мужичок, прибежавший на пожар в одних подштанниках, докладывал разнородной толпе:

– Я только было заснул, как вдруг слышу, на улице кто-то болезненно вскрикнул. Этот тревожный вскрик подбросил меня в постели, как пружиной. Я ка-ак вскочу с кровати-то, в растерянности не пойму, в чём дело-то. Впотьмах да второпях ищу, ищу штаны, а их как киска съела, никак не найду. А как ударили в набат, я и вымахнул на улицу, вот и пришлось бежать в одних подштанниках, вы уж, бабы, извините меня, я ведь не с умыслу – на пожар-то бежать, в одежде форс не держать! – с ухмылочкой на лице глаголил мужичок, сдержанно улыбались и мужики с бабами.

– Нам-то вот до смеху, а вон погорельцам-то какво!

Ванька с Панькой на курсах трактористов. «Субботник»

В декабре того же 1933 года Ванька Савельев с Панькой Крестьяниновым поступили на курсы трактористов при совхозе им. Калинина. Сначала преподавали общеобразовательные предметы, а потом и теорию по устройству тракторов и сельхозмашин. Ванька с Панькой подружились с молодыми преподавателями: Сергеем Хробастовым, Иваном Максимовым и Костей Пивоваровым, которых они пригласили на святки в своё село.

14 января 1934 года, в воскресенье, администрацией совхоза был устроен субботник по очистке семенного фонда, готовившегося к весеннему севу. На этом субботнике все курсанты работали дружно и по-ударному. Настало время обеда, уставшие и изрядно проголодавшиеся, все ринулись в столовую, а там тружеников угостили щами – силосом, «сдобренными» червяками. Ребята подняли бунт, в котором главенствующую роль взяли на себя Ванька с Панькой, за которую чуть их не исключили с курсов, и впоследствии пришлось поплатиться Ваньке. В марте, после прохождения курса по теории устройства тракторов, началась практическая езда на тракторах: «Фордзоне» и «СТЗ». А 8-го апреля, в Пасху, был

произведён пробный выезд – смотр подготовленности техники к весеннему севу, на который Ванька выехал на своём тракторе «СТЗ» с прицепленными к нему пятью боронами.

В конце апреля началась пахота в поле, Ванька со своим подручным Лизой Дунаевой впервые самостоятельно вспахал первые гектары на тракторе, причём по утрам приходилось вставать с рассветом. Напряжённость при заводке трактора, на правой руке у Ваньки появилась болезненная шишка, так называемый «геликон», который пришлось удалить операционно в Арзамасской больнице, операцию сделал врач Халтурин. После того, как рука поджила, Ванька с Панькой больше не захотели работать на совхозе, они от колхоза завербовались на автозавод, и 17-го июня уехали в Горький. Друзья поступили в военизированной охрану и проработали в ней до сентября, и, соскучившись о родном селе, оба возвратились в своё Мотовилово. В конце ноября Ванька поступил в сельпо, продавцом в ларёк, который открыли при Серёжинском доме отдыха. Торговля в ларьке была мелочной и невзрачной: скудный набор галантерейных, парфюмерных и кое-каких других товаров, а также (по просьбе отдыхающих) Ванька из села носил в чайниках и продавал в ларьке молоко. Проработал Ванька в этом ларьке до середины января нового 1935 года.

Трудности с хлебом (карточки). Хлебозакуп

Вечно русский народ живёт в хлопотах о хлебе, особенно крестьянин-труженик. Он хлеб сеет, жнёт, молотит, мелет, хлебы печёт, а в достатке у него хлеба не часто бывает. Вот и теперь, от мелкого хозяйства перешли к крупному, т.е. крестьян объединили в колхозы, а хлеба вдоволь всё равно нет. С 1930 года по 1934 год включительно были введены карточки на хлеб, хотя колхозы вроде и много стали его производить. Сдачу хлеба государству всячески старались стимулировать, так, тем, кто непосредственно привозил хлеб на заготовительные пункты, в виде поощрения выдавалась махорка – целая осьмушка, только на двоих. Людям, недоумевающим, куда у нас деваётся хлеб, разъясняли: хлеб идёт для районов, пострадавших от стихийных бедствий, но этим голословным отговоркам мало кто верил. «Всю пшеницу – за границу, а картошку – на вино. А колхозникам – мякину и за гривенник кино!» – песенка сложена.

В сентябре месяце 1934 г. в Мотовилове было созвано собрание единоличников о хлебозакупе через кооперацию. Мужики упорствовали и не продавали хлеб, которого, конечно, в избытке у них не было. Для строптивых мужиков

применяли угрозу:

– Неужели вы не понимаете налоговую политику нашей партии?!

– Нет, видимо, помирать надо: хлеба нет, лапти поизносились, жизни нет, а налоги-то спрашивают! – с унылым видом на лице высказался, сидя в зале, где шло собрание, среди своих единомышленников Ананий Владыкин.

– Мы ведь не так у вас просим, чтобы вы хлеб сдавали государству, а за деньги, да плюс к этому мы вам через кооперацию в виде стимула продадим промтовару, какого вам спонадобится! – стараясь умиловить мужиков, обратился к ним представитель из района, всё тот же Васляев, со сцены, где он, как и обычно, находился в президиуме.

– Эх, а мне бы вот конное ведро позарез нужно для хозяйства, старое-то прохудилось, а новое-то, видно, без хлебзакупа не приобретёшь! – высказал свою нужду Михаил Касаткин, с намерением от себя лично продать государству два пуда ржи, чтоб за это ему продали конное ведро.

– Вот видите, и почин есть, вот и давайте-ка насчёт конных-то вёдер и поговорим, кому ведро, а кому, может быть, ещё что надо для личного хозяйства? – востроившись и встав во весь рост за столом президиума, обрадованно высказался Васляев.

Слово взял колхозный бригадир Оглоблин.

– Я в колхоз снял урожай пятьдесят пудов с гектара и сдал его в склад, конечно дело, по квитанции, за что получил сто

килограмм хлеба в натуре, так вот эти сто килограмм я обя-
зуюсь продать государству! – восторженно закончил он свою
речь.

В зале послышались недружные аплодисменты.

– Ты что, Катерин, недружно в ладоши-то хлопаешь, слов-
но от м–ды мух отпугиваешь, ты если хлопать, то подымай
руки-то выше и хлопай, а не около своей ровесницы пошлѐ-
пывай! – с ехидной подковыркой заметил Фёдор Крестья-
нинов соседке по скамейке, которая аплодировала несмело
и робко, на что в зале прокатился ядрѐный, но сдержанный
смех.

Катерине Фёдорово замечание не понравилось, она, злоб-
но окрысившись на него, со злорадством высказалась:

– А ты не придерживай около себя хлебец-то, продай
сколь-нибудь государству-то, не обедняешь ведь! – принуж-
дала Катерина Фёдора.

– Хотя в далёком прошлом, но всё же вот эти мои мозо-
листые руки добродействовали неимущим и подавали мило-
стыню нищим, а твои руки делали ли это? – с презрением
дал отповедь Фёдор Катерине.

А в другом углу зала иной разговор: две бабы ведут меж
собой непринуждѐнный наивный бытовой разговор.

– Вы, Марья, из чего хлеб-то варакаете?

– Как из чего? Из муки, из воды да из теста! – с самодо-
вольной улыбкой ответила соседке Анне Марья.

– Чай чего-нибудь ещё в тесто-то добавляете? – допытли-

во не унималась Анна. – Наверно, картофельную шелуху в тесто-то кладёте?

– Ну да, кладу, кто теперь без картошки-то хлеб печёт? Разве только одни мельники, это у них мука-то не ужурёна!

– Да, видно, кто пашет да жнёт, незавидно живёт! – мечтательно вклинил своё слово в бабий разговор Василий Самойлович.

Так или иначе, а собрание о хлебозакупе подходило к концу, а охотников продать хлеб государству отыскалось мало. Решили действовать иначе, на второй день создав чрезвычайную бригаду, в которую вошли: Грепа, Санька Лунькин, Мишка Ковшов и Панька Свинов. Они-то, действуя вероломно и напролом, рыская, обходили мало-мальски зажиточные дворы, обнюхивали амбары и мазанки, самовольно открывали закрома и саморучно выгребали хлеб. Народ – разношёрстная бессильная толпа, а эта бригада – сила, потому что за спиной у них – закон!

– Ты чем замок-то хочешь открывать? Ключи-то ведь у хозяина! – спросил Грепа у Мишки Ковшова, когда они вломились во двор единоличника Александра Полякова и пронюхали, что в клети есть хлеб.

– А топор есть?! – отозвался Мишка.

Топор тут же нашёлся, и Мишка, размахнувшись, с силой ударил обухом по замку. Замок, повинувшись удару, подчинённо откинул ножку, словно кобель, мочившийся на кучу мусора. Хлеб без всяких проволочек забрали...

Разговор Василия с Анной Гуляевой:

– Слушай-ка, кум, давно я собираюсь тебе выговорить.

– А за что?

– А помнишь, восейка ты меня хотя и посадил обедать, и щами мясными угостил, а вот хлебца тогда ты для меня пожалел – отрезал два тонюсеньких ломтика.

– Да я вовсе не пожалел, мне помнилось, что ты подумаешь, что я тебя за обжору считаю!

– Ну тогда другое дело.

Трактористы в поле и Ершов. Охотник

Трактористы в заполице около Баусихи пахали зябь. Чтобы бесперебойно они пахали, не отрывались на приготовление себе пищи и не ездили в село на ночь, к ним в бригаду, колхоз откомандировал Николая Ершова, чтобы он им горючее доставлял и обед им варил. Обеспечив горюче-смазочным материалом, Николай и похлёбку с кашей для трактористов сварил. И стараясь чем-то особым угодить пахарям, Николай украдкой от пастухов в масляное ведро подоил отбившуюся от табуна корову, благо стадо-то паслось в глубоком долу «Шишколе», и в обед наверсытку напоил трактористов молоком, за что они его похвалили. За обедом, как и во всех случаях, когда есть кому слушать, Николай вёл перед пахарями свой разговор.

– Ну как, ребята, у вас с молока-то брюха не заболели?

– А что?

– Ведь я подоил в ведро-то из-под бельзину?

– Нет ничего, дядя Коля, пока всё в порядке, спасибо за третье блюдо! – с похвалой отозвались трактористы.

– Да, правда, в человеческом брюхе, как говорится, топор изноет, а вот для рыбы в воде масло или бельзин смертоносно. Достаточно масляным ведром зачерпнуть воды из пруда

или озера, как множество мальков погибнет.

Уминая за обе щеки пригоревшую кашу, рассказывал Николай свои познания перед пахарями-молодыми трактористами. И, видимо, боясь утратить нахлынувший на него волчий аппетит, он, жуя, работал челюстями так часто, словно шасталка у сложной молотилки.

– И как это раньше некоторые мужики съедали по 16 солодушек и считали себя полуголодными? Я же, однажды, съел 14 блинов, и то был сыт по горло! – говоря об аппетите вообще, разглагольствовался Николай перед пахарями.

– Нет, мужики, как не говорите, сколько не калякайте, а раньше хоть народ был и тёмный, а пограмотнее, чем сейчас. Потому что раньше в школе-то учили прибавить да умножить, а сейчас: отнять да разделить! – философствовал Николай. – Вот, к примеру, хотя бы взять мою покойную баушку Фёклу: простая деревенская старуха была, а считать умела. Однажды в какой-то зимний праздник, а в какой – убей меня не помню, она напекла пирогов. Вынув их из печки и уложив их на столе, чтобы они отпыхнули, сосчитала: пара, пара, пара, пара... А сколько пар – она не уразумела. А мне строго-настрого наказала, чтобы я, коли и кошку, бывает, от пирогов отшугни. Чтобы я грехом не своровал и не съел, хотя бы один из этих пирогов. «Мотри, Кольк, не сбондий», – строго приказала она мне. «Ни-ни, боже сохрани!» – я, конечно, поклялся, что не возьму, а про себя думаю и песенку напеваю: «Нынче праздник, воскресенье, нам лепёшек напекут, и

помажут, и покажут, а поесть-то не дадут!»! А кто ссамовольничает, того от стола отлучат, и как провинившегося котёнка за ушко да в угол! Потому что это было приготовлено для всей семьи, а не для одного сладника. За обедом за столом всем выдавалось пирог на пару, и мы с баушкой пара: гусь да гагара! А мне жрать так сильно захотелось, заурчало в брюхе, заныло, и желудок работы просил. При виде поджаристых и заманчиво пахучих пирогов я и соблазнился. Пока баушка, отвернувшись от стола, гремя ухватами, хлопотала в чулане около печки, мне в голову вбрела предательская мыслишка. Ах, думаю, семь бед – один ответ, взял, да украдкой от баушки и слямзил один пирог. Цоп его, и на зубы, и торопко начал уминать его за обе щёки. Жую, щёки – салазки, ходуном ходят. Жую, ухобачиваю, жевотину слюной смачиваю, чтоб коли грехом не поперхнуло и разоблачённо не раскашляться... спешно языком работаю, старательно в горло поскорее кусочки пропихиваю, натужно глотаю, отчего глаза чуть не под лоб залупындриваются. А ведь есть, особенно ворованное, во время обедни, когда люди и моя семья, кроме нас с баушкой Фёклой, в церкви молятся – грех несусветный! Ну так вот, только я расправился с пирогом, сделал последний глоток, едва протолкнул объёмистую жевотину в горло, как моя хитроумная пронырливая бабушка, высунувшись из чулана, зырк на меня пронзительными глазами и принялась снова считать пироги: пара, пара, пара... И у неё что-то не выходит: один пирог оказывается непарным. И ко мне с уко-

ром: «И коли ты только успел пирог-то стибрить и сожрать! Не дождался обеда и от семьи спорол целый пирог. Ах ты, мошенник, ах ты, охальник, дуй тебя горой-то!» – с руганью обрушилась на меня баушка. Я, конечно, божусь, клянусь, что не крал и не брал. «Как не брал, коли я не досчитываюсь: одного пирога до пары не дохватает!» Она считать-то умела только парами, а сколько пар она недоумевала. Она снова побрела в чулан к печке, там у неё что-то уходило, и не переставая наделять меня нелестными словами, ругалась: «Вот тебя на том свете за воровство-то боженька в огонь посадит!» Я, конечно, пригорюнился, приутих кому охота на раскалённой сковородке жариться! Пока бабка у печки гремела посудой, ухватами и кочергой, меня осенила выручающая мысль: чтобы уравновесить бабкин счёт над пирогами и сделать их парными, я будь не плох, цап со стола ещё один пирог и его тоже скорее на зубы, и давай его уминать ускоренным темпом, второпях поглядываю и на бабку, и на дверь, как бы не появились на пороге молельщики, возвращаясь из церкви, а их кроме нас с бабкой ещё восемь едоков. Расправившись со вторым пирогом, я с упрёком говорю бабушке: «Вот ты пироги-то считала, а ошиблась, проверь-ка снова, ведь все пироги на месте!» Бабушка, выйдя из чулана, принялась уже в третий раз считать, тыча своими заскоружеными пальцами в хрустяще-поджаристые бока пирогов: «Пара, пара, пара, пара...» Шепелявя, она шептала счёт про себя. И вдруг на её лице появился признак радости находки:

«И когда только ты, шельмец, подложить-то успел: сначала стибрил, а теперь подложил. Все пироги парные, значит, все на месте!» – обрадованно, с довольством прорекла бабушка. И оказалось в результате: и волки сыты, и овцы целы! – закончил свой рассказ Николай, попивая молоко и обглядывая всех пахарей, сидящих в окружало около полупотухшего костра, на котором Николай стряпал-кухарничал.

– Дядя Николай, а ты бы нам рассказал чего-нибудь из охотничьих походов? – обратился к Николаю Васька Демьянов.

– Я бы рассказал, да боюсь, для слушания моего рассказа у тебя ушей не хватит!

– Это почему же? – обиделся Васька.

– Да так, мои рассказы способны только охотники слушать!

– Так и я охотник, восейка купил ружьё, так что и меня считай охотником! – отозвался Васька на Николаево замечание.

– Ну тогда слушайте. Я вам, братцы, расскажу, как я однажды, ещё в бытности молодым, на охоту ходил. Видимо, я в деда удался. Он, покойник, рассказывал мне, как он с рогаатиной на медведя хаживал. Ну так вот, дело-то зимой было, я собрался на охоту отправиться. А, как правило, если на охоту идут, то в котомку кроме куска хлеба и боеприпасов ничего не кладут, о приварке не помышляют, если сами дичь в лесу промышляют! Это я к слову сказал, для реальности мысли! –

навыхвалку лихо ввернул Николай слышанные им от кого-то слова. – Ну так вот, тогда я в лес пошёл без собаки, потому что она только дичь взбудораживает и зверя с места стогоняет без надобности. Иду, не торопясь, на ногах сапоги хлюпают, они немножко великоваты были. Только я это вошёл в Вязов лес, гляжу, а передо мной, шагах в 20-и от меня, на пригорке два зайца сидят, на расстоянии не больше сажени друг от друга. Я, приостановившись, цап за ружьё и стал целиться в них. Меня подмывало желание завладеть обоими зайцами. Уж больно один из них большой, а другой больно красивый, я и пальнул в середину. Мне бы скорее поглядеть и определить результат выстрела, а тут, как на грех, выстрелочным дымом всё заволокло. А когда дым передо мной рассеялся, я перед собой вместо двух увидел только одного, который был побольше. Красивый-то был поменьше и шустрее, он, видимо, невредимым, успел устрекулять в лес, а большой-то, гляжу, дыльгая одной ногой и ковыляя, тоже улепётывает в чащобу. Да тихо, видимо, только одна дробинка потревожила его. Мне бы надо ещё хлопыстнуть ему в гачи-то, а ружьё-то у меня – шомполка. Я быстрым порядком зарядил, да и пыхнул ему вдогон в запятки-то, а дробь-то, видимо, не догнала, видимо, обессилила. Так мой большой заяц и скрылся в чащобе, утащив с собой свою пушистую шкуру, которую я отпланировал было использовать себе на шапку. После этого я с досадой раздумывал сам с собой: как же это так, ружьё 12-го калиберу, и дробь подходящего номера, а промазало, что

с моим ружьём такое мало, когда случилось. Я, ни так с обиды, как с досады начал своё ружьё ругать, да с упрёком приговаривать: «Да ты у меня умеешь ли по-прежнему в цель-то попадать, или разучилось? Ведь таких двух завлекательных зайцев упустить – это уму не постижимо!» – с укором брюзжу я на своё ружьё, рассматривая полустёртую надпись на его казённой части. Я, значит, не торопясь, снова перезарядил свою кормилицу-шомполку, насыпал в ствол сверх нормы пороху, поднасыпал туда дроби без жалости, достал из кармана книжку, вырвал из неё первый листок, на котором были написаны две крупные буквы: «К.М.», а ещё крупнее их буква «Н», затрамбовал этой бумагой ствол шомполом туго-натуго, и думаю, на чём бы испробовать боевую способность и определить качество своего ружья. Неужели оно, в самом деле, разучилось кучно бить и дробью зверя поражать?! Приглядываюсь вокруг, и как на грех, около меня никакой живой цели не оказалось. Я, недолго думая, снимаю с себя овчинный полушубок и развесил его на толстущей сосне, причём шерстью наружу, чтоб полушубок-то изображал собой в некотором роде волка. Отмерив от этой сосны 20 шагов, положил куда следует пистон, взвёл курок и, тщательно прицелившись в полушубок, нажал на спуск. Выстрел такой громкий и оглушительный задался, что залпом-то меня ошеломило, и в ушах что-то застряло. Проковыриваю пальцем уши-то, а сам на полушубок поглядываю: цел ли? А он преспокойненько висит на прежнем месте, и как ни в чём не

бывало! Ну, думаю, и в полушубок-то промазал, ружьё надо продавать, оно совсем испрокудилось, с таким ружьём не только не обзолотишься, а только обнищаешь! Подошедши к сосне, смотрю, определяю: прометился, да и только. Полушубок-то висит невредимым. Снял я его с сосны-то и хотел его на плечи накидывать-одеваться. Распахнул его, да так и обомлел: батюшки мои святы! Вижу, вся задняя сторона у полушубка-то в шерстяных клочьях поутыкана. «Вот тебе так фунт изуму!» – подумал в растерянности я. И напрасно я давеча ругал ружьё, оно не виновато, а виноват, видимо, глаз. Дробинки-то, видимо, при выстреле-то ударились в шерстяную сторону полушубка, овчину проббили насквозь, и клочки шерсти на лицевую сторону повывернули. Оделся я в полушубок-то, осмотрелся, я в нём как пугало огородное, и чую, от холода спина зябнет. Хотел развести костёр, исчиркал полкоробка спичек, а огня так и не вздул, видимо, отсырели. Котомка пуста, хлеб весь съеден, боеприпасы почти все израсходованы. От усталости и голода иду-бреду, едва переставляю ноги. Невдалеке заметил муравьиную кочку, подошёл к ней, без всякой надобности ногой распахнул сердцевину кочки, увидел множество муравьёв и их беленькие коконы-яички. Встревоженные муравьи мигом всполошились, и каждый, ухватившись своими цепкими клешнями за кокон, похожи на мужиков с мешками на пожаре, торопко засуетились по кочке, уносили свои ноги в норки, спасая коконы в подземельных кладовых. Чтобы набраться сил перед

отбытием домой, я устало прилёг на кучу сухого хвороста. Только было хотел, сдремнув, сомгнуть немножко, хватить мне в ухо, залезший туда муравей как типнет за молоточек, я от боли как леший заорал и вскочил на ноги. Видимо, обозлённый муравей с целью мести забрался ко мне в ухо и укусил за молоточек, а молоточек ударил по наковаленке, я и очумел от треска в ухе, затанцевал от боли.

– Что у тебя в ухе-то, кузница что ли? – не выдержав, спросил Николая тракторист Гришка.

– Я сам-то не знаю. Это сын мой, Минька, в книжке вычитал, что в нашем ухе есть молоточек с наковальней, да ещё стремячко в придачу! – отозвался Николай. – Пришёл я тогда с охоты-то домой и боюсь своей бабе на глаза показываться. Вошёл в избу и стараюсь к ней спиной, пока не разделся, не поворачиваться. А она у меня сметливая, всё заприметила и ахнула: «Это кто тебя так порвал?» И обрушилась на меня с яркой руганью. А я ей отвечаю: «Не ругайся, дорогая Фрося, а радуйся, что твой благоверный и распреодинаственый муж живьём домой явился». «А что такое?» – испуганно спросила меня Фрося. «В лесу на меня медведь напоролся, вот он меня и обмурзовал, я еле вырвался!»

– Ты, дядя Николай, с виду вялый, на работе ворочаешься, как перезимовавший карась, а врать гораздый! – не выдержав Николаева хвастливого вранья, заметил Васька Демьянов.

– Ты, Васьк, мало ещё меня знаешь, молод ещё всё про та-

ких, вот как я, знать. Ты, видимо, не знаешь, что я не только бывалый охотник, я ещё и столяр-краснодеревщик, и плотник первой гильдии. Я дом себе вон какой сгροхал, хотя он у меня и соломой крытый, а крыша-то вон какая высота, и если с неё жмякнешься, то самое мало, горбом отделаешься, а то и вовсе пятки вздёрнешь! – куря и дымком попыхивая, расфилософствовался Николай.

– Ну не сердись, Николай Сергеич, дай-ка лучше закурить или разочек курнуть! – попросил у него Васька.

– Один вот такой же курнул, да обратно туда, откуда на свет появился и мырнул! – с злопамятством отпарировал ему Николай. – А теперь, после сытного обеда, давайте отдохнём с просонью! – скомандовал Николай.

Вечером, когда настало время ужина, Николай для пахарей разогрел оставшуюся от обеда похлёбку, которая оказалась не совсем по вкусу трактористам:

– Дядя Миколай, похлёбка-то твоя больно жидковата, в ней всю Москву видно! – с сожаленьем заметил Гришка.

– Николай Сергеич, похлёбка-то ваша тово, маленько задумалась, прокисла! И если ей облить собаку, то она сразу облезет! – с язвительной усмешкой заявил Васька.

– Как задумалась? И собака облезет!? Ты что, Васьк, уху ел, или ещё не обедал? Ты, видимо, в похлёбке-то плохо понимаешь, как петух в горчице! Рожа твоя, что месяц в полнолуние! – сказал Николай.

Васька подошёл к котелку, висевшему над костром, и де-

монстративно хлябко сморкнул в общую похлёбку.

Осень. Анисья, Панька, Смирнов

Грибная пора отходила... В это туманное августовское утро Анисья решила сходить в лес, и если ещё не совсем пропали грибы, то набрать их, засушить или насолить впрок. Она встала спозаранку, первой промяла дымчатый след по белёсой, росистой траве в проулке. Своим длинным подолом сарафана она обмела зернистую росу с горькой полыни и крапивы, когда пробиралась по узкой заросшей тропинке глухого переулка. Подойдя близко к лесу, Анисья ощутила грибной запах и пьянеющий сенной запах увядающих трав и запоздалых цветков. В лесу было тихо и пустынно, ни ветра, ни шороха, ни единого звука. Вдруг из-за кустов вывернулся с лукошком Панька Крестьянинов. Оправившись от мгновенного испуга, Анисья в шутку спросила Паньку:

– Это ты все мои грибы собрал?

– Я вовсе твоих грибов не собирал, а если и собирал, так только свои! – с усмешкой ответил ей Панька, стесняясь подойти к ней поближе, он помнил тот случай, когда Анисья пристыдила его за вольность.

«Эх, вот задорный товар даром пропадает», – всё же и сейчас подумалось Паньке.

– А хошь, я тебе пособлю грибы собирать? – осмелившись, предложил свою услугу он.

– Я бы и больно была рада, да только их, грибов-то, что-то

стало мало! А которые и есть, так червивые! – с сожалением ответила ему Анисья.

– А я вчера сюда за грибами-то съёдал, набрал целое лукошко, и как на грех, у меня на правой ноге лапоть размочалился, совсем развалился, пришлось одну ногу разуть, так и плюхал до самого дома, одна нога в лаптю, а другая разута! – стараясь завести обыденный разговор с Анисьей, с намерением перевести его потом на любовную тему.

Но Анисья, признавая в Паньке себе не ровню и не желая навести на себя порочную тень, да и Николай Смирнов в её сердце занял большую долю, и она, чтобы поскорее отделаться от Паньки, стала удаляться от него, ускорив шаг, она засемила ногами, устремила в сторону и скрылась в густых зарослях дикого малинника и кустов калины.

Стояло на редкость тёплое бабье лето. Рыли картошку. Люди с раннего утра до позднего вечера были заняты уборкой второго хлеба. Николай Смирнов, уже управившись со своей картошкой (у него она была посажена только в огороде), поздними вечерами потайно пробирался к Анисье. Так и в этот вечер, когда вечерний сумрак робко, но настойчиво вытеснил из проулка остатки мутного света и едва стемнело, он уже был у неё. Пока Анисья управлялась по хозяйству, приводя в порядок принесённые из лесу грибы, он прилёг на постель и, вздремнув, заснул. Его разбудил разговор на улице, недалеко от Анисьиного дома, и звук падающих огло-

бель, кто-то запоздало выпрягал из телеги лошадь. Из темноты слышалось: «Марьй, а Марьй! Подыми ж-у-то, я из-под тебя куфайку возьму, под тобой моя куфайка, отдай! Вот заболталась, как и не слышит. Слышишь, что ли? Подыми ж-пу-то! Я куфайку возьму, на моей сидишь! Отдай!» – и, видимо, не дождавшись, когда Марья закончит свой заядлый разговор с подругой, хозяйка фуфайки с силой выдернула её из-под Марьи. – «Ишь, как нагрела, вот и гоже прохладным-то вечерком одеть тёпленькую куфаечку!» – с довольством проговорила она, облачаясь в извлечённую из-под Марьи фуфайку.

Управившись по хозяйству (она ходила за водой на озеро), Анисья, войдя в избу, зажгла лампу, стёкла незанавешенных окон вспыхнули ядрёной синью. На печи и в чулане зашебуршали тараканы, зажужжала заметавшаяся по избе одинокая муха.

– А я нынче в лес за грибами съёдала, да мало их, видно, грибная пора кончилась. Принесла малость, только ноженьку в кровь растёрла! – нарушив тягостную тишину, проговорила Анисья. – С утра во рту не было ни крошки, проголодалась, надо поесть немножко! – добавила она.

– Слушай-ка, Анисьй, в прошлый раз ты мне наказывала, чтоб я тебе резинки купил! – с постели спросил Анисью Николай.

– Да, купил что ли? – наивно спросила она его, без всяких намерений подходя к кровати.

– Я бы купил, да размер твоих ляжек снять забыл, дай-ка я смерю толщину ляжек, чтобы не ошибиться, сколь потребуется резинки-то, метр или полметра хватат!

И он бесцеремонно заворотил ей подол выше колен, обнажив её упруго-тугие розовые, дышащие молодым здоровьем ляжки. И, не сдержав себя от соблазна к влечению к столь заманчивому аппетитному женскому телу, он с силой рванул её к себе, повалил на постель, губами впился в её губы...

– У тебя всё какие-то шуточки да забавы! – только и могла она сказать ему, когда он, натешившись, отвалился от неё.

– Говорят, что вторая-то молодость злее? – чтоб что-то говорить, сказал Николай.

– Не знаю, ещё не испытала такой прелести! – по-простецки ответила она. – Только я поняла, что я для тебя – одна забава! – с тревожной ноткой в голосе проговорила она над ухом.

– Вот-те, здравствуй, ж...а, новый год! – удивился он. – Это почему же ты так думаешь? – встревоженно спросил он её.

– Да так, сердце моё предчувствует, что наша с тобой любовь добром не окончится! Мы думаем, что люди совсем не замечают, что ты ко мне ходишь, а мне кажется, что допытливые бабы уже всё знают! – с печалью на душе высказалась она.

– Но ведь нас-то ещё никто не заставлял! – отговариваясь, утешал он её.

– Не заставляли, так застичь могут, если не будем применять меры предосторожности. А ты хоть застегнись что ли, а то, не ровен час, кто придёт, а ты в таком виде, ведь у меня сени-то не заперты! – предостерегла она его.

– Эх ты, Анисьй, и застенчивая, как девка! Пускай и узнают, ну и что, я от тебя не отступлюсь: ходил и буду ходить, хоть украдкой, хоть наяву! Дай-ка я тебя обласкаю, зоренька ты моя ясная! – он снова привлёк её к себе и, лаская, крепко прижимал её к себе и ненасытно целовал её в нежные трепещущие губы.

– Да ладно тебе! – слегка отталкивая его от себя, сказала она.

– Ты, Анисьй, меня совсем завлекла и как-то заморозила меня, что я без тебя и не мыслю, как мне жить. Я к тебе со всей любезностью, а ты чего-то выдумываешь, что ты якобы для меня одна забава. И перестань на меня дуться-то, подумаешь, какое преступление я перед тобой сделал, поцеловал да прижал тебя к себе, без этого жить – только небо коптить! – высказался он перед ней. – Дай-ка сюда мне твою руку, я посмотрю на твои линии жизни! Вот видишь: по линиям на твоей ладони ты – женщина счастливая, и твоя счастливая жизнь ещё впереди, если, конечно, со мной связь будешь продолжать. Так что воссмейся и возрадуйся! Чего молчишь-то?

– Все вы, мужики, такие, о счастье бабам пророчите, а когда вам поддаёшься, то после и оглобли от нас поворачива-

ете! – своё опасение высказала она перед ним. И с непредусмотрительностью добавила: – Вот так же, однажды, мне о счастливой жизни пророчил Федька Лабин, и даже мне целый подол яблоков насыпал! – наивно и неуместно похвалилась Анисья Николаю.

От этих Анисьиных слов Николая пружинисто подбросило на постели, ревность жаром обожгла лицо.

– Ты смотри, как бы он тебе и под подол-то не насыпал, и зря-то перед ним не верти своими колобашками, а то он скоро тебя обработает. Ты знаешь, он какой ухач?! – с чувством жгучей ревности высказал он своё опасение.

– Нужен он мне, ты мне этими словами причиняешь нестерпимую боль. Если я с тобой связалась, так не думай, что это в шутку! – едва сдерживая слёзы, прильнув к его груди, с преданностью прошептала она ему в самое ухо, а потом своими взволнованными устами прилипла к его губам в крепком поцелуе...

– погоди, я изустал, изнемог, дай отдохнуть немножко! – изнеможённо отпыхиваясь, сказал он.

– А ты бы не так круто, исподволь бы, а то больно горячо взял – дорвался! – с весёлой улыбкой высказалась она перед ним.

– Ну ладно, Анисья, я спать хочу, надо хорошо выспаться, чтоб завтра не клевать носом на работе-то.

Он проснулся под самое утро. На улице от лунного света было светло, как днём. В избе на полу чётко вырисовался

искошенный четырёхугольник оконного переплёта. Потайно выйдя от Анисьи домой, Николай не пошёл улицей, а украдкой добравшись до озера, пошёл задами по росистому травяному берегу озера, как по зелёному ковру. На душе у него было весело, а во всём теле сладкая истома усталости. На том берегу на улице Мочалихе в чьей-то избе, мерцая, вспыхнул огонёк и тут же погас. По селу, в разных его концах, оберегающе лаяли собаки; дерзкий собачий лай слышался и где-то совсем рядом. «От этих собак-супостатов никакого спасенья нету, так и бросаются, того гляди пятки отгрызут или штаны с ж...ы содерут!» – думалось Николаю. Придя домой, Николай сразу бухнулся в свою отдельную от жены постель. Жена Лина на его приход не прореагировала. Николай в беседах с мужиками признавался: «А мы с женой едим врозь и спим порознь».

Девки в Балахне. Дуня и Васька Демьянов

Ребят забирают в армию, а девок, которые не успели выйти замуж, посылают в Балахну. Ранней весной этого года в село Мотовилово приехали два вербовщика, которые должны оформить договора с девушками, намеченными колхозом (согласно разнарядки) для отбывания летнего срока-сезона на добыче торфа в болотах для Балахнинской электростанции. Вечерами на гулянье эти вербовщики задорно гонялись по улицам за будущими торфушками (которые, конечно, им нравились), соблазняя их на взаимную любовь.

Дуня Булатова за последний год много подросла, пополнила телом, зад её заметно раздался, груди буйно повыперли вперёд, и стала она вполне созревшей девушкой. Постольку, поскольку Дуня сирота, и жила она у тётки отдельно от сестры Анисьи, то её как одиночку колхоз включил в разнарядку для посылки в Балахну. Вместе с девками-сверстницами Дуня уехала из села на торфодобычу, где, задорясь на то, что торфушкам будут ситцу давать, Дуня вместе с девками работала по 12 часов в сутки. Жили девки в бараках, обедали в столовой, хлеб по карточкам получали по 800 гр. На торфяных болотах свирепствовала малярия, которая не

обошла и Дуню. Проработала она на торфодобыче не более месяца, как её свалила с ног малярия, а вдобавок с простуды она схватила и грипп. В больнице места не оказалось, так Дуня отлеживалась и лечилась хиной и кальцеком в барачке, на своей койке. Девки-подруги решили известить Анисью о болезни Дуни, и малограмотная подружка Катька написала письмо и отправила его в Мотовилово по почте. Получив письмо, Анисья так и ахнула. В письме говорилось: «Ваша Дунька захворала лихорадкой, а теперь лежит в грибу». Анисья не на шутку испугалась и встревожилась: она неразборчиво написанное слово «в грибу» поняла, что Дунька лежит в гробу. Анисья тут же взбукетенилась, с горем и плачем собралась и поспешно выехала в Балахну. Какова же её была радость, когда она, приехав туда и едва разыскав посёлок торфушек из Арзамасского района, обрела сестру Дуню живой и уже выздоравливающей.

– Как же так?! – сквозь слёзы, недоумевающе спросила Анисья девок. – Кто это из вас мне письмо-то написал? И сообщил, что Дуня лежит в гробу? Я до смерти перепугалась!

– Да не в гробу, а в грибу! – пояснила одна из Дуниных подруг, видимо, автор этого злополучного письма.

– Грибом она болела, грибом! – хором докладывали девки о болезни Дуни, смеясь над злополучным недоразумением, которое Анисью привело в столь печальное положение.

– Ну а теперь твоя Дуня совсем выздоровела и, видишь, совсем поправилась, и снова стала всё есть, что ни попади,

а то целыми днями, когда хворала, не могла ничем окрепнеть! Крошки в рот не брала, потому что температура у неё была 49 градусов.

Девки дружно и голосисто рассмеялись.

– Вы что хохочите? – недоумённо спросила подруг Катька, рассказывая о болезни Дуни.

– Да как не хохотать-то над тобой, ведь ты вон чего сморозила, через дугу загнула! Да разве у человека бывает 49 градусов? От такого жара он сразу умрёт!

– То бишь 39 градусов, – спохватившись, поправила свою ошибку Катька. – Я уж совсем с ума спятила! – под общий весёлый смех подруг признала она свою оплошку.

– Корзинка на голове, а она её ищет! – сказала подруга.

Анисья уехала домой, Дуня же, совсем уже окрепшая, под самое закрытие сезона по соблазну вышла замуж там же на торфу, за Кольку Куварзина, с которым она прожила только две недели, не пожилось, и она вернулась в своё село. Побыв столь краткое время замужем, Дуня Куварзина (она стала носить фамилию бывшего мужа, потому что с ним она была зарегистрирована), стала ещё смелее и дерзже на язык, но к себе никого из парней, и кто вообще задорился на неё, не подпускала. Она всецело посвятила себя труду. Её стали наряжать на работу в колхоз, в данное осеннее время – на молотьбу. Дуня делать умела всё: её здоровое тело позволяло ей справляться с любой работой, она даже могла запрячь

и распрячь лошадь. Однажды Дуне пришлось на молотье запрягать лошадь в телегу. Она, высоко задрав левую ногу, упёршись ею в клешню хомута, натужно стала затягивать супонь. Про панталоны и трусики в деревне бабы и девки понятия не имеют.

– Ты, Дунык, осторожней ногу-то задирай! – заметил ей тракторист Васька Демьянов, от соблазна задирая козырёк своей кепки кверху на фасон «никому не должен».

– А что? – недоумевая, спросила Дуня.

– Как это «что»? Ровесницу перекосить можешь! – с язвительной ухмылкой, скалясь, сказал он ей.

– Чай не жалко! – отшучивалась она.

– Нет, пожалуй, пожалеешь, женихи забраковать могут, замуж не возьмут, кому ты с перекошенной-то будешь нужна? – щерясь во всю рожу, захлёбываясь от восторга, глаголил Васька.

– Мне до замужества-то ещё долго! До тех пор и ровесница моя выправится! – не сдавалась в словесности Дуня.

Во время перерыва, когда все молотильщики поразбрелись кто куда, мужики расселись вокружало, закурили, завели беседу. А бабы с девками, присевши, расположившись на свежеемолоченной, пахнувшей хлебной преснотой соломой, не выпуская граблей из рук, нежась на мяготи соломы, дремотно млели от истомы, отдыхали. Васька, заглушив трактор, закулив, решил для виду пройти мимо куливших

мужиков, а норовил попасть в общество отдыхающих баб. Его подмывало желание поговорить с Дуней и по возможности завести с ней любезное знакомство. И вообще-то, Васька, войдя в зрелость, частенько стал интересоваться девками с целью приглядывания и подыскивания себе невесты. Так, однажды, во время сенокоса, когда всё клеверное поле, где происходила уборка клевера на корм скоту, было усеяно бабье-девичьей толпой с граблями, и всё поле было расцвечено разноцветными бабьими и девичьими платками и сарафанами, и уставлено стожками готового клевера, Васька, работая на своём тракторе, издали наблюдая всю эту красочную картину, заметя, с восхищением сказал подъехавшему в тарантасе к нему председателю Федосееву:

– Эх, вот ма...ды-то сколько!

– Да, девок и баб в поле, что цветков на лугу! – с деловитостью в тоне голоса ответил ему тот.

– А знаешь, Николай Лексеич, в моей голове только что возникло такое нахальное воображение! – жеманно ухмыляясь, проговорил Васька.

– Какое? – поинтересовался Федосеев.

– А что было бы, если бы вот сейчас со всех этих работающих в поле баб и девок внезапно сползло бы одеяние, вплоть до нательных рубашек, тогда что было бы, а? – задыхаясь от закатистого смеха, закатился в хохоте Васька.

– Дурак! – с упрёком оборвал его Федосеев. – Ты, Васьк, видимо, выше колен ещё не видывал женского тела, вот и

вбрело в твою дурную голову такое. Чувствуется, в голове-то у тебя вместо смысла ветер погуливает.

– Я видывал, да не нагляделся! – шутливо отговорился Васька.

– А ты хоть штаны-то застегни, а то у тебя половой вопрос просится наружу! – с усмешкой заметил Ваське Федосеев и, показав кнут своему разъездному коню Орлику, погнал на клеверное поле, где мужики, орудуя вилами, складывали клевер в стога.

Васька в присутствии Дуни не мог сдерживать себя от соблазна, чтобы не заговорить с ней. Вот и сегодня, хлопоча около трактора, он одним глазом глядел на дело, а другим влюблённо наблюдал за Дуней. Вот и сейчас, подходя с папироской в зубах к мужикам, Васька намеревался не задерживаться около них, а идти к бабьему гурту. Из мужиков кто-то заметил:

– Вон идёт к нам Васька и покуривает папиросы, значит, непременно и нас угостит, даст закурить городских-то! Только я издали никак не пойму, какие он папиросы-то курит: по дыму-то вроде «Беломор», а по толщине-то вроде «Звёздочка».

Когда же Васька подошёл к мужикам вплотную, то оказалось, что он дымит обыкновенной махоркой.

– Эй, друг Вася, дай бумажки закурить из твоего табачку, а то у меня спичек нет! – шутливо попросил закурить у Васьки Иван Серяков.

– Эх ты, вечный стрелок, видно, никогда у тебя нет своего, видимо, у тебя в кармане-то всегда папиросы «Трезвон», – с многозначительной усмешкой насмешливо ему заметил Васька, а сам уже направился к бабьему гурту.

И присевши напротив Дуни, он, жеманно улыбаясь и давясь сухой спазмой, проговорил, обращаясь к Дуне:

– Дуньк, а когда карточки-то готовы будут?

– Какие карточки? – недоумённо спросила она.

– Как какие, ты же меня сейчас сфотографировала! – заливаясь весёлым смехом, по-жеребьячи огогокал Васька.

– Чего ты мелешь, рыжий чёрт! Я вот граблями тебя сфотографирую! – пообещала Дуня Ваське.

– Тогда закрой своё поддувало подолом и прикрой свой объектив, а то, коим грехом, сфотографируешь, а я ещё не приготовился, кудри не причесал. Сначала надо бы подрефертироваться! – под общий бабий смех разглагольствовал Васька.

– Давай я тебе космы-то вот граблями расчешу и взлохмачу, или на веретено повыдергаю, весь твой чуб выщиплю, какой кудрявый нашёлся – вахлак косматый! Помело печное! А у тебя не кудри, а клочок волос, как у телушки на ма...ке! – с бранью обрушилась Дуня на Ваську, но он не особенно обижался на Дуню, а наоборот, приблизившись к ней вплотную, внезапно для Дуни схватил её за подол платья и ради озорства, с нахальством поднял его, с бесстыдством заглянув туда, скороговоркой крикнул: «Где горит!»

Она с силой ударила его по спине граблями, грабли, хряснув, переломились.

– Вот где горит! Рыжий дьявол, что, гоже я тебя ошпарила, а то ещё прибавлю. Только грабли-то жалко, о твои мослы загубила!

– А ты закрой свою поддувалу и свои голяшки всем-то не показывай, береги их для своего будущего мужа! – с деловитостью скаля зубы, порекомендовал Васька.

– Уж не для тебя ли побережь-то? – с насмешкой произнесла Дуня Ваське.

– А может и для меня! Я ведь хоть немножко и рябоват, но на лицо-то я приглядчивый! – не сдавался Васька. – Может быть, и я тебе когда-нибудь в женихи пригожусь, чем чёрт не шутит! – ерепенился он.

– Уж как бы не так, уж если у тебя тут не хватает, то здесь-то не займёшь! – она, шелохнувшись на соломе, причудливо изогнувшись и отпячив свой зад, демонстративно потыча себе в лоб пальцем, пошлёпала ладошкой по своему заду.

Бабы весело рассмеялись. Не озлобившись на Дуню, душевно смеялся и Васька.

– Вот ты под подол-то нахально лезешь, а бакланом своим пустым не соображаешь, куда лезешь? – продолжала упрекать Дуня Ваську.

– А что? – с наивностью отозвался Васька.

– Ребёнок получится, вот что! – в удивленье бабам, козырнула такими словами Дуня.

– Ну и что, не воспитаем что ли?! – приняв всерьёз Дунины слова, со степенством протянул Васька.

– Воспитатель какой нашёлся, ты хоть штаны себе новые купи, а то вон рубаха-то у тебя вся в заплатках и на портках-то в полж...у дыра! – взрыв весёлого бабьего смеха огласил окрестность вокруг тока. – Из тебя не жених, а природное недоразумение получилось. И чем только тебя мать-то родила? – не переставала наступать на Ваську Дуня.

– Чем, чем, чай, как и всех, м...й! – отозвался он.

– Ну тогда так и оставайся ей навечно! – под общий бабий хохот, урезонив Ваську, отчеканила Дуня.

Вместо того, чтобы обидеться на Дуню за то, что она так унизила его человеческое достоинство, он не рассердился, а наивно так рассмеялся, что одна из баб даже предложила набить на Ваську обручи, а то от смеха он рассыплется, как разохшаяся бочка. Васька из любезности, не поимев к Дуне зла, снова приблизился к ней и дружелюбно проговорил:

– Ты, Дуньк, больно смела на язык-то, в любую дыру без мыла влезешь!

– Да уж, в карман за словом не полезу, а сразу в глаза скажу: хошь стой, хошь падай! Убери свои грабли-то, и не лезь куда тебя не просят! Ведь ты туда ничего не клал, так и не лезь! – грубо оттолкнув от себя Ваську, руки которого посягающе полезли было в груди Дуне.

– А ты, Дунь, брязни ему в харю-то, да намандёнными пальцами проведи ему по брылам-то! Он и узнает, как своим

рукам волю давать и как к нам привязываться-то! – находчиво порекомендовала Дуне рядом с ней сидящая Наташка. – А то давай его нымам повалим и в ухо насцым! – добавила она под новый взрыв смеха.

– Валяйте, валяйте, ловите, ссыте, вот уж я тогда нагляжусь на ваши объективы, вот уж тогда поневоле меня сфотографируете! – задыхаясь от задорного смеха, обрадовался Наташкиной затее неугомонный Васька.

– Эх ты, чёрт несуразный! Варежка на леву руку! Лопух! Сундук с клопами! Болото пустое! Ведро поганое! Кувшинное рыло! Коровье седло! Хомут оральный! – наперебежку Наташка с Дуней нелестными словами обличали Ваську.

– Да уж какой есть, за рубахой-то не видно, обратно на переделку мне не лезть! – с наивностью отшучивался Васька.

Но всё же, эти неприличные, неприятные слова урезонили Ваську, постепенно он стал остывать, пропала вся охота. Кстати, перерыв в работе окончился, Васька снова завёл трактор, молотья продолжилась.

Отлёт птиц. Осмотр скота у с/совета

Вот и осень наступила, не за горами и зима. Вчера весь день лил сильный дождик, к вечеру выветрилось, а утром подморозило. Летующие в нашей местности прилётные птицы давно уже улетели, остались только скворцы и грачи, да и они собрались в поход. Некоторые скворцы перед отлётом прощально посещали свои родные скворечницы, и, сидя на крышах, они на весенний лад распевали свои прощальные песни, а попрощавшись с «родным домом», присоединялись к общей стае, которая с шумом и галдежом носилась над селом. Исполняя свой прощальный концерт, огромная стая скворцов со свойственным скворцам криком то суматошно носилась над озером, то внезапно садилась на вётлы и берёзы, где находились скворечники, в которых молодь вывелась этим летом. Сидя на деревьях, скворцы принимались так галдеть, что редкий человек не услышит этот птичий концерт и не заметит их хлопотливой суетни перед отлётом. Тон в прощальном концерте задавал один, сидящий поодаль от стаи, видимо, скворец-старик, предводитель всей стаи. По его команде гомонящий концерт начинался, и по его сигналу концерт внезапно прерывался. Как по команде, скворчинная стая вдруг с шумом срывалась с одного дерева, и, всей

ватагой полетав над селом, дружно рассаживалась на другом дереве.

Не отступая скворцам, к отлёту также готовились и грачи. Они тоже делали прощальные полёты над селом. Огромная стая грачей то высоко взлетала в подоблачную высь, то с звенящим крыльями шумом рассыпчато стремительно падали вниз. А внизу, снова собравшись в общую стаю, с громким криком долго кружились над селом и над озером. Провожая грачей, в их огромную стаю вклинились бесшабашные галки, которые, как крикливые бабы на базаре, своим галдежом с чиканьем усиливали общий птичий гвалт прощального концерта. На второй день в селе скворцов и грачей, как и не бывало, они улетели на юг.

В селе не как летом, стало как-то тихо и грустно. Уж не слышно птичьих голосов, не стизят стрижи, не щебечут ласточки, не поют скворцы, не орут горластые грачи. И воробы с галками, зачужав холод, приутихли, только где-то на задворках одиноко прострекочет сорока-воровка, да прокаркает ворона.

Небо затянуто какой-то сероватой проседью, в воздухе словно белые мухи вяло мельтешатся отдельные снежинки, лениво, словно неуверенно, ложатся на землю. После недавних дождливых дней землю сковало морозом, на поверхности образовалась скользкая наледь.

В такую-то скользь на земле, сельские власти, не без указания районного начальства, приказали всем жителям села, у кого есть коровы, тёлки и вплоть до телят, вести этот скот к зданию сельского совета на осмотр с целью выявления наличия скота в селе и его учёта. Коров и тёлок (как будущих коров) для обложения молоком, а телят для регистрации на предмет контрактации их для колхозов. Приказ начальства – закон для подчинённых. Не пойдёт же оно по дворам, это хлопотно и унижительно для него. Люди, накинув своим бурёнкам верёвки на рога, послушно повели их по гололедице к сельсовету. По селу раздавался жалобный коровий мык... Неподкованные коровы, сторожно ступая на обледеневшую землю, поскользаются, тушно падают, неуклюже ухватом растопырив задние ноги. Которые коровы были стельные, тут же телились. В результате: пять вывихов коровьих мостолыг с переломами и три преждевременных отёла!..

Три должности в колхозе

Оглоблина Кузьмы

Кузьма Дорофеевич Оглоблин в колхозе занимал сразу три должности: бригадир, счетовод и пчеловод. Сидя за столом в конторе, он деловито раскуривал свёрнутые загогулинами толстенные цыгарки-самокрутки из турецкого табака-самосада, напуская целые облака густого дыма и устремив свой потуплённый взор в угол, предавался тягучим размышлениям. Он не особенно углублялся в дебри счетоводских дел, а так сидел и размышлял про себя, делая вид, что в голове он решает насущные вопросы счетоводства. Он часто посматривал на главбуха и в окно, опасаясь, как бы главбух Лобанов М.Ф. и председатель колхоза Федосеев Н.А. не заметили его, как сидевшего без дела, и не сочли бездельником. Если главбух обращал на него внимание, то Оглоблин сразу же оживлялся, бесцельно брал из шкафа первую попавшую папку дел, сдувал с неё пыль и с напускной деловитостью, раскрыв её на столе, одним глазом исподлобья наблюдая при этом за поведением главбуха, цедил сквозь густоту поросли своих бровей каждое его движение. И определив, что главбух вовсе не обращает на него внимания, а занят своими бухгалтерскими делами, тогда Оглоблин лихо подхватывал со стола «дело» и небрежно бросал его снова

в шкаф. Или же иногда наоборот доставал из шкафа ещё несколько папок «дел» и для пущей важности расстилал их по столу. Он это делал для того, чтобы каждый проходящий в контору видел, что счетовод Оглоблин всегда за делами, и что он деловой человек. Однажды его спросил один колхозник, пришедший в контору разобраться с начислением ему трудодней:

– И как это ты, Кузьма Дорофеич, справляешься с такой обузой счетоводских дел? Ведь для этого нужна голова?!

– Так вот и справляюсь! – с деловитостью в словах ответил он. – По силе возможности по моей воле. Да и голова-то пока меня не подводила! – самоуверенно утверждал он.

– Нет, разбираться в таких сложных и тонких делах нужна не простая голова, а со смыслом! – продолжал удивляться колхозник.

– И больно тонка и путана паутина, а паук в ней свободно разбирается! Так же и я в бухгалтерских делах кое-что, да кумекаю! – торжествовал Оглоблин. – А главное в нашем деле регулярно вести запись дел! – с намёком на вульгарность, улыбаясь, заметил Оглоблин, не чужа того, что зимовавший в помещении конторы комар, присев ему на лоб, выбирал место, где бы поудобнее впиться в его кожу.

Колхозник по наивности своей, размахнувшись, шлепком ладони раздавил этого комара.

– Эх, как ты меня напугал. Я инда вздрогнул, – незлобливо заметил, усмехнувшись, Оглоблин.

Иногда он целыми уподами перебирал шашки на счётах, передвигая их то влево, то вправо. Шашки с трудом повиновались усилиям Кузьмы, туго передвигались по заржавленным проволокам. И чтобы передвинуть одну нужную ему шашку, он брался за неё обеими руками и, наморщив лоб, сдвигал её на нужное место. Однажды, в буйном припадке досады и зла (у него при подсчёте общего числа трудодней, выработанных всеми колхозниками за год, получался разный результат), он грохнул этими счётами об пол так, что все счёты распались на части. «Этим счётам, наверно, сто лет в обед! Они колхозу достались от Петруни, который ещё в далёкой давности имел бакалейную лавку. Их бы давно надо разбить!» – в шутейной форме оправдался Оглоблин перед главбухом, который намеревался поругать Кузьму за такое нерадивое отношение к казённым вещам. Сверяющимся колхозникам о количестве заработанных ими трудоднях Оглоблин, обычно употребляя свою поговорку «взять в среднем», говорил примерно так: «У тебя, Иван Петрович, если взять в среднем, выработано примерно шестьдесят восемь трудодней!»

В колхозной канцелярии было шесть столов, один из которых принадлежал председателю Федосееву, другой – главбуху Лобанову, третий – счетоводу Оглоблину, четвёртый – кассиру, пятый пустовал, за него садились кому нужно из посетителей, на нём писались сводки и разного рода донесе-

ния и заявления. Шестой же стол бездейственно валялся в углу за печкой кверху ножками с самого начала организации колхоза. С ним произошла следующая история. Он был отобран вместе с другой мебелью и разным барахлом у кулака Лабина В.Г. в момент раскулачивания. В горячей перепалке с сыном Василия Федькой активист Грепа тянул этот стол к себе, а Федька не отдавал. В результате у стола была сломана одна ножка, и Федька, видя непригодность поломанного стола, с силой оттолкнул от себя вместе со столом Грепу. Обрадованный таким сравнительно тихим исходом дела, Грепа со столом и ножкой от него, пошёл во вновь открытую колхозную канцелярию в каменном доме, отобранном у бывшего торговца бакалейными товарами Вахнина И.В. Так как стол о трёх ногах нельзя было поставить для дела, его бросили в угол за печку, где он преспокойненько и полёживал до сих пор вверх тормашками, протянув свои три уцелевшие ножки к потолку, как бы высказывая своё недовольство, что он обречён судьбой, что не пришлось ему вместе с собратьями послужить колхозному делу.

По должности бригадира Оглоблин выполнял свои функции в следующем виде. Наряжал людей на работу, хотя колхозники и без его наряда на работу сами рвались. В конце каждого месяца в личных счетах против фамилий колхозников своей бригады он ставил количество выработанных ими трудодней, причём не забывал проставлять и себе за

бригадирство ежемесячно 30 т/дн. Оглоблин, болея душой о том, как работает его бригада в поле, частенько, особенно в дни сенокоса и уборочной кампании, выходил в поле. Он с доверием относился к своей заместительнице по руководству бригадой колхознице Марье, которая, работая вместе с остальными колхозницами, под исход рабочего дня измерив лаптями свою тень: семь лаптей – домой, должна переписать на лоскутке бумажки всех работающих и смерить шагами площадь сжатой ржи, и такое сведение вечером подать Оглоблину, как бригадиру. Иногда, заленившись пойти в поле, он залезал на крышу своего дома и оттуда по пальцам считал людей, работающих на участке его бригады, благо изба его стояла недалеко от края села, и крыша была сравнительно высокой. Работающих в поле баб и девок Кузьма издали узнавал по расцветке платков и сарафанов: «Вон моя заместительница Марья, вон моя Татьяна, а вон и Дунька Захарова в кубовом сарафане!» – мысленно перечислял он колхозниц, занятых делом в поле. Довольный активной работой своей бригады, мысленно повторив лозунг «Кто не работает – тот не ест!», он с весёлым настроением слезал с крыши и принимался за обед, благо который продолжался недолго, потому что приготовленную Татьяной пищу для семьи на весь день, его досужие прожорливые ребятишки почти всю съели ещё до обеденной поры. После обеда, поотдохнув в лежачем положении на кровати, где вместо постели одно провонявшее детской мочой тряпьё, Кузьма шёл в кон-

тору. После обеда, как это принято у людей, каждый из работников конторы, перед тем, как приступить к своему делу, делится с сослуживцами, что ел на обеде. После всех доложил о своём обеде и Кузьма.

– А моим зубам и желудку легко, есть-то было почти нечего: всё ребятишки-голопузики подмели! Так что у меня частенько бывает на завтрак Татьяна в постели, на обед – то же, и на сон грядущий – она же! – с добродушной улыбкой шутливо объяснялся Кузьма о своём скудном питании и всегдашнем аппетите на Татьяну.

Иногда в поле под конец рабочего дня Кузьме самому приходилось переписывать работающих колхозников.

– Дядя Кузьма, ты меня записал? – спросила его Дуня, уходя из поля вместе с подругами.

– Записал, записал, можешь идти домой! – с лёгкостью ответил Кузьма.

– Это чья такая статная девка? – спросил он Марью, шагами измеряющую сжатую площадь.

– Как чья? Ты же ей сказал, что записал, значит фамилию её не знаешь?

– Вот именно, что не знаю, я это сказал ей второпях, заглядевшись, залюбовался на её прелестную красоту! И кому только, не знай, она достанется!

– Так запиши: это Дуня Булатова, а теперь её фамилия Куварзина!

Должность же колхозного пчеловода в начале организации колхоза Оглоблин исполнял по совместительству, потому что это дело некому было из актива поручить. Всё знакомство с пчеловодством у Кузьмы Дорофеевича заключалось в том, что у его престарелого тестя когда-то был пчельник из пяти ульев. И он, Кузьма, будучи ещё молодым, как зять частенько бывал на пчельнике – видел, как пчёлы летают, как они садятся около летка улья, как вползают и выползают из щели, пробовал пальцем на язык свежий, ещё тёплый, только что откаченный из сотов янтарный мёд. Помнит Кузьма и то, как однажды, будучи под хмельком, его больно ужалила пчела в бровь, отчего он затопал, заплясал на месте, зажав ладонью глаз. Вот, пожалуй, и все его навыки в делах пчеловодства. «Конкретнее-же какая-то пчела-нелюдимка не узнала меня, остальные-то меня знают!» Конкретнее сказать, Кузьма в этом щекотливом деле понимал столько же, сколько понимает свинья в астрономии. Но, тем не менее, над одиннадцатью ульями с пчёлами, отобранными у мельника Матвея Кораблёва, кому-то надо присматривать, так это дело и поручило правление колхоза Оглоблину Кузьме. За надсмотр и руководство над пчёлами Кузьма взялся рьяно и с большой охотой. С весны ульи с пчёлами вывозили к лесу и располагали их в ивовом кустарнике на сухом «поганом болоте». Пасеку оставляли на попечение сторожа Якова Забродина, а сам пчеловод Кузьма из-за занятости редко, когда её навещал. До самого августа Кузьма не откачивал мёд, отго-

вариваясь тем, что пчёл тревожить не надо, так они больше натаскают мёда. Но досужие ребяташки в отсутствие сторожа ухитрились забраться в ульи, лакомились медком, выдирая его из рамок с сотами. Осенью Оглоблину предложили своевременно улья убрать в помещение на зимовку, на что он с видом знатока отговорился: «Ещё рановато, пусть они ещё потаскают медку, всё в колхозе будет приполну больше. А когда с наступлением заморозков шесть пчелиных семей погибли, ребяташки (и собаки) безбоязненно стали вскрывать ульи и лакомиться мёдом. С лихим торжеством ребяташки носились по селу с медовыми рамками, смачно сосали их, сами мазались мёдом и мазали им девкам сарафаны и голые ноги. Обеспокоенных бесхозяйственностью колхозников Кузьма успокаивал, говоря: «Нынче год такой, не медоносный – я тут не при чём!» Его из пчеловодов сняли. При сдаче новому пчеловоду оставшихся ульев с пчёлами, он с хладнокровием сказал: «Всё равно пчёлы тебя слушаться не будут, без меня дело не пойдёт. Всем пчёлам придёт капут!»